



КАЖДЫЙ МОЛЧИТ О СВОЕМ

ИСТОРИИ ОДНОЙ ВОЙНЫ

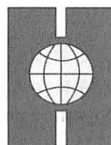
Комитет «Гражданское содействие»

КАЖДЫЙ МОЛЧИТ О СВОЕМ

истории одной войны



Комитет «Гражданское содействие»



NORWEGIAN
HELSINKI COMMITTEE

Норвежский Хельсинкский Комитет

Москва
2013

**Издание осуществлено при финансовой поддержке
Норвежского Хельсинкского Комитета**

Каждый молчит о своем: истории одной войны. — Москва, Гражданское содействие, 2013. – 176 стр.

В сборник вошли воспоминания людей, переживших чеченскую войну. В книге представлены разные истории: молодых людей и взрослых, русских и чеченцев, военных, журналистов, правозащитников. Каждый из них рассказывает о своем видении и отношении к случившемуся, свою правду, что помогает читателю увидеть одни и те же события с различных точек зрения. Издание предназначено для широкого круга неравнодушных читателей, но может быть особенно полезно молодым людям, которые только начинают интересоваться Кавказом, проблемой войны в Чечне, вопросами памяти и миротворчества.

Позиция Комитета «Гражданское содействие» и Норвежского Хельсинкского Комитета может не совпадать с содержанием книги.

Консультанты:

Светлана Ганнушкина, Варвара Пахоменко, Екатерина Сокирянская

Редакторы-составители:

Сабина Фолнович-Яйтнер, Татевик Гукасян

Сбор материала и расшифровка: Анна Кадимская, Ариша Золкина, Тимур Воскресенский, Маша Ромашкина, Дарья Соколова, Карина Котова, Александра Малеева, Татевик Гукасян,

Сабина Фолнович-Яйтнер, Ирина Можайкина

Дизайн обложки: Игорь Булычев

Фотографии предоставлены

архивом Правозащитного центра «Мемориал» www.memo.ru

Распространяется бесплатно

© Комитет «Гражданское содействие» – 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
ПОЧЕМУ	
Почему для вас актуальна тема войны? (вводное слово интервьюеров)	9
ЖИЗНЬ ДО	
Как вы жили до войны?	15
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ	
Какие были предвестники, признаки начала войны?	20
НАЧАЛО	
Как началась война?	28
ВОЙНА	
Что с вами происходило во время войны? Как вы жили?	39
КОНЕЦ	
Как и когда закончилась для вас война?	122
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ	
Что с вами стало после войны? Как вы живете?	128
ПАМЯТЬ	
Нужно ли помнить и говорить о войне?	139
ЗАЧЕМ	
Зачем нужна работа с прошлым? (послесловие интервьюеров)	146
СПАСИБО!	150
Именной указатель	151
ХРОНОЛОГИЯ	
Россия и Чечня: краткая хронология отношений	152
Информация по теме	159

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагается книга «Каждый молчит о своем: истории одной войны» – сборник интервью, собранных молодыми членами и стажерами Комитета «Гражданское содействие» в рамках проекта «Личные воспоминания о чеченской войне». Люди, пережившие в Чеченской Республике недавние трагические годы, рассказывают в интервью свои личные истории.

Когда в конце 1994 года началась война в Чечне, мир для меня раскололся на две части – мир тех, кто каждую минуту думал об этой войне, и тех, кто жил так, как будто ничего особенного не происходит. И этих вторых – много больше, чем первых. Если их сыновей, мужей, братьев не отправили в Чечню, чтобы убивать или быть убитыми, они так и не заметили этой войны.

А война продолжается до сих пор, она не может закончиться, пока общество ее не осмыслит, пока не откроется ее сущность, пока не станет очевидным, что она не между двумя народами, а между преступной властью и народом. Эта война – урок всем нам, еще не осмысленный, еще длящийся, но уже загнавший и продолжающий загонять общество в дикость, жестокость и пошлость.

Молодых составителей сборника эта война зацепила сейчас, их поразило, что люди могут жить, не замечая войны, могут молчать о ней. И я надеюсь, что эта книга сможет заинтересовать и других людей, в первую очередь таких же молодых, сможет поставить их перед необходимостью вернуться к реальности, в которой война занимает важное место.

Участники проекта правы, утверждая, что получили эту войну в наследство. Но это наследство не прошлого, а настоящего. Сегодня мы живем все в том же времени, страница истории еще не перевернута не только в сознании, но и в нашей реальности. И выбираться из этой реальности в будущее придется им – тем, кто придумал и осуществил этот проект.

Мне хочется пожелать им на этом пути достичь больших успехов, чем это удалось нам – старшему поколению.

Я надеюсь, что этот сборник искренних рассказов о времени и о себе поможет людям понять друг друга и помешает процессам разобщения, которые мы наблюдаем сегодня в мире.

Светлана Ганнушкина,
председатель Комитета «Гражданское содействие»

ВВЕДЕНИЕ

Книга, которую вы держите в руках, подготовлена в ходе реализации проекта «Личные воспоминания о чеченской войне». Это пилотный проект Комитета «Гражданское содействие» по работе с прошлым, целью которого было начать осмысление последствий чеченской войны, инициировать диалог между молодыми людьми, пережившими войну, и теми, кого она вообще не касалась. К участию в проекте были приглашены студенты и выпускники московских вузов, многие из которых никогда до этого не касались проблемы чеченской войны. В рамках проекта они встречались и выслушивали истории очевидцев и участников событий: своих сверстников, активистов из Чечни (около половины интервьюируемых), военных, журналистов, правозащитников.

Мы стремились встретиться с разными людьми, чтобы по возможности услышать все разнообразие мнений и позиций. Насколько это удалось, судить читателю, мы же можем только отметить, что найти рассказчиков оказалось не просто. Война – очень тяжелая тема для воспоминаний, во многом табуированная и небезопасная, особенно в Чечне. Многие из тех, кто согласился дать интервью, признавались, что они годами держали в себе эти воспоминания и впервые решились подробно рассказывать о пережитом, а некоторые до последнего сомневались, смогут ли они нарушить столь долгое молчание. Беседы велись по методу «устной истории», когда акцент в интервью делается, прежде всего, на передаче личного опыта и восприятии событий.

В качестве подготовки к такой сложной работе все волонтеры проекта прошли специальный обучающий курс, который включал консультации психологов по посттравматическому стрессу, лекции экспертов-правозащитников по проблеме чеченской войны, специалистов по культуре и обычаям Кавказа, а также советы методистов по ведению интервью. Таким образом, все запланированные беседы удалось провести без особых осложнений, сведя к минимуму риск вторичной травматизации рассказчиков, а также интервьюеров.

Тексты расшифрованных интервью стали материалом для данной публикации. В связи с ограниченным объемом книги невозможно было включить полный текст всех рассказов. Но мы надеемся, что материалов этой книги достаточно для того, чтобы хоть немного приблизить читателя к прошедшим

событиям и дать возможность составить некое впечатление о чеченской войне (или войнах) не с политической, а с человеческой точки зрения, услышав голоса обычных людей: детей, матерей, отцов; мирных граждан, военных, правозащитников, журналистов; русских и чеченцев, живущих в Грозном и в Москве, в Чечне и России.

У нас не было цели детального описания фактических событий, никакие из приведенных случаев нами не проверялись. Позволив людям высказаться, поделиться своими воспоминаниями, мы скорее стремились создать на страницах книги пространство диалога о нашем общем прошлом.

Внимательный читатель сможет заметить, что этот большой диалог складывается из множества малых диалогов разных людей – тех, кто был на войне, и тех, кто видел ее по телевизору; тех, кто ждал помощи в Чечне, и тех, кто ее оказывал из Москвы, Питера и других городов; тех, кто был в плену, и тех, кто их освобождал; тех, кто воевал, и тех, кто останавливал войну; тех, кто ненавидел, и тех, кто простил; тех, кто все это пережил, и рассказал, и тех, кто услышал и записал; и тех, кто сейчас читает и узнаёт об этом.

Желая передать атмосферу живого личного общения, мы намеренно во многом сохранили стилистику и особенности речи говорящих. Расшифровки разговоров были отредактированы в минимальном объеме, необходимом для чтения и понимания.

В названии книги, ее описании и содержании употребляется термин «чеченская война» или «война» в основном для обозначения событий в период с декабря 1994 года (начало первой чеченской кампании) и до конца 2000 года (завершение активной фазы боевых действий во время второй кампании). Однако некоторые рассказчики говорят о более поздних событиях, вплоть до 2009 года (до официальной отмены режима контртеррористической операции), также как о «войне». Поскольку существуют различные подходы к названию событий в данный период, мы тоже решили использовать слово «война», как и наши рассказчики, в широком смысле, включающем все возможные интерпретации, исходя из контекста.

Важно отметить, что так называемая чеченская война была, по сути, результатом конфликта и противостояния между государством и определенной частью граждан. Формально военные действия велись по приказу властей на территории одной из республик собственной страны против своих же граждан. То есть это не был межэтнический конфликт, однако со временем на бытовом уровне он стал зачастую восприниматься именно так. Возможно,

этот перенос связан с тем, что в сознании российских военных война шла не просто против боевиков, но террористов, которые были в основном чеченцами по национальности, то есть именно чеченцы воевали против них. Для населения Чечни с характерным для народов Кавказа острым чувством национальной принадлежности российские войска воспринимались как русскоговорящие люди, а значит, русские, которые воюют против их народа. Противоречие в этом вопросе отражается и в речи наших рассказчиков: с одной стороны, многие из них специально отделяют воевавших в Чечне солдат от всех других русских, а «боевиков» – от всех чеченцев; с другой стороны, они очень часто оговариваются, рассуждая про отношения России и Чечни, как «русских» и «чеченцев», «своих» и «чужих». Таким образом, приходится признать, что в результате войны в сознании людей сложилось представление о двух народах, чеченцах и русских, как противоборствующих сторонах конфликта. Это ошибочное представление, к сожалению, распространилось и укрепилось в общественном мнении как один из множества стереотипов этой войны. Более того, на сегодняшний день это разделение на русских и чеченцев расширилось до противопоставления славян и кавказцев со всеми вытекающими отсюда проблемами межнациональных отношений, особенно острых в молодежной среде. Но это уже несколько другая, не менее актуальная тема, которая, как было показано выше, уходит корнями в чеченскую войну.

Книга «Каждый молчит о своем: истории одной войны» состоит из нескольких разделов, в которых люди рассказывают о своей жизни до войны, во время и после войны. В каждой главе собраны рассказы разных людей, однако при желании можно проследить историю отдельного человека, используя именную указатель «Люди». В целях безопасности были удалены или изменены большинство имен и географических названий.

В тексте почти нет комментариев, дополнений или разъяснений, поскольку, как уже отмечалось выше, мы не ставили целью воссоздать фактическую картину описываемых событий. В качестве ориентира и помощи читателю в приложении дается краткая хронология событий и список дополнительных материалов по теме. Дальнейшее углубление в эту тему зависит от желания самого читателя, поскольку по данному вопросу можно найти множество книг, статей, фото- и видеоматериалов, подготовленных нашими коллегами в России и в мире.

Для нас самих реализация этого проекта и издание книги стали возможностью присоединиться и внести свой небольшой вклад в многолетнюю миротворческую работу, которую ведут в Чечне правозащитники и журналисты со времени начала первой войны. Наше поколение конца 80-х – начала 90-х годов – поколение детей, получивших войну в наследство. Нам кажется, что пришло время разобраться в унаследованном прошлом, поскольку мы до сих пор на себе переживаем его последствия.

Издание «Каждый молчит о своем: истории одной войны»* и проект «Личные воспоминания о чеченской войне» были осуществлены в рамках совместной программы «Просвещение в области прав человека на Северном Кавказе» Комитета «Гражданское содействие» и Норвежского Хельсинкского Комитета.

* Название книги перекликается с названием фильма *Jeder schweigt von etwas anderem* (пер. с немецкого *Каждый молчит о своем*), 2006, реж. Марк Баудер, Дертэ Франке

ПОЧЕМУ

Почему для вас актуальна тема войны? (вводное слово интервьюеров)

Сабина, 27 лет*,

куратор проекта «Личные воспоминания о чеченской войне»

В студенческие годы в Хорватии я участвовала в качестве волонтера в проекте общественной организации «Документа» – «Личные воспоминания о войне». Мы брали интервью у людей, которые пережили войну после развала Югославии. Свои истории рассказывали нам разные люди – сербы и хорваты, дети и взрослые, военные и мирные граждане. Мы хотели узнать, что происходило в стране во время войны, в то время, когда мы сами были еще детьми. И люди с нами говорили об этом, хотя многие тогда были против этих бесед, впрочем, как и сегодня. Это было нелегко, очень тяжело слушать о том, как люди пережили войну, как они себя чувствовали. Но нам это было нужно, нам, которые ничего не знали, кроме сухих цифр и холодных фактов из учебников и газетных статей; нам, которых никто не спрашивал, хотим ли мы этой войны.

Когда я оказалась в России и больше узнала о чеченской войне, мне было совершенно непонятно, почему люди об этом не говорят? Везде видны последствия войны, но все молчат. Познакомившись с людьми из Москвы и Грозного, мне становилось ясно, что нужно сделать – дать людям возможность высказаться, выслушать их, не пытаясь оценивать и судить, кто прав, кто виноват, просто дать рассказать, что на душе.

Вместе с московскими волонтерами мы сумели провести такие разговоры. Было очень сложно, но я уверена, что, убегая от всего плохого и тяжелого, нам легче не станет.

Многие меня спрашивали, зачем мне это надо, какое мне дело до этой войны, да и я сама задавала себе тот же вопрос. Мне кажется, не важно, где, в какой стране происходит или происходила война, не важно, какое у меня гражданство, – весь вопрос в том, буду ли я закрывать глаза в ожидании, что все само исчезнет, или признав, что меня касается все происходящее вокруг, сумею преодолеть страх и равнодушие и начну что-то делать?

* Здесь и далее возраст указан на момент проведения интервью – лето 2012 года.

Татевик, 27 лет,

координатор программы «Просвещение в области прав человека на Северном Кавказе»

Наверное, эта история началась для меня несколько лет назад, когда я приняла приглашение на одно не совсем обычное чаепитие. Тогда в Москве проходил семинар по правам человека, и мои сверстники из Чечни после напряженного учебного дня пригласили меня к себе в номер отдохнуть за чашечкой чая. Я, как всегда, опоздала и пришла к ним только поздним вечером, вошла в комнату, где меня уже давно ждали. Мы тихо, мирно стали обсуждать семинар, кто-то шутил... Но уже через несколько минут, казалось бы, из ничего, совершенно неожиданно для меня всплыла тема войны. И вот тогда у нас начался Настоящий Разговор. Бомбежки, подвалы, зачистки, самолеты – какие-то далекие для меня события, стали оживать и заполнять пространство маленькой комнаты. Они говорили, а я слушала, затаив дыхание, молча, боясь разрушить что-то очень важное, происходившее с нами всеми в тот момент, момент длиною в ночь. Наутро, казалось, мы стали друзьями. Теперь, когда мы это проговорили, мы могли смело, не стесняясь, смотреть друг другу в глаза, могли быть честными, могли доверять, могли быть вместе.

Уверена, осознанно или нет, каждый из нас ждал этого разговора, мы хотели услышать и быть услышанными, потому что, наверное, единственный способ преодолеть войну, которая нас разделяет, это пережить и переосмыслить ее вместе. Я никогда не забуду то чувство облегчения и благодарности друг другу, которое мы испытывали после этого разговора.

За несколько лет работы в нашей просветительской программе я не раз с удивлением и радостью встречала молодых людей: русских, чеченцев, украинцев, белорусов, у которых есть желание говорить и слушать, которые готовы к таким беседам. Они хотят личного разговора – прямого и открытого, такого, где вещи, наконец, будут названы своими именами.

И эту книгу, как будто им в ответ, мы старались сделать именно такой, «без купюр», без излишней политкорректности и вежливости, без умалчиваний, мы лишь передаем то, что сами услышали и записали, – прямую речь.

Тимур, 22 года,

студент юридического факультета

Я начну с воспоминаний. Казалось бы, откуда им взяться у человека, который не то что в Чечне, а и на Кавказе никогда не был. Однако они есть.

Я помню, когда я был ребенком, по телевизору очень часто показывали Чечню. Я не знал, что такое Чечня, и где она, но она четко ассоциировалась у меня с войной. Меня очень огорчали эти новости о войне. «Опять Чечню показывают», – жаловался я. В то время меня больше интересовали мультфильмы.

Я очень любил рисовать. Я помню, что часто рисовал самолеты. У самолетов был загнут «клюв», быть может, так он выглядел агрессивнее или просто мне казалось, что так он будет быстрее летать. Когда меня спрашивали, что это за самолеты, я объяснял, что такие летают в Чечне. Наверное, я не единственный, кто рисовал такие самолеты или танки, «как в Чечне».

Я думаю, это большое счастье, когда война в твоей жизни – только на рисунках. Мне было около 5 лет. Я жил в Новосибирской области.

Честно говоря, я не знаю, актуальна ли для меня тема войны. Война – это, прежде всего, люди, которые на ней оказались. Война – это родственники тех людей. Я не вижу иного способа понять войну, нежели попытаться понять людей войны.

**Анна, 24 года,
студентка факультета социальной антропологии**

Удивительно, но это событие – война и все ее последствия – действительно создали два разных мира, которые совершенно не могут соответствовать друг другу. В одном мире люди живут так, а в другом иначе. И пока они не будут находиться в одном мире, эти люди никак не смогут понять друг друга. Здесь вопрос не разной интерпретации или оценки фактов, не разных убеждений, а именно вопрос того, что одни люди могут говорить об одном – скажем, участники войны, те, с кем это случилось, а другие – ничего об этом не знали, а если знали, то какие-то другие факты. И мне кажется, что в результате действительно появляется пропасть между этими мирами и, соответственно, между людьми. Эта пропасть просто так, сама по себе не зарастет. Она будет дальше углубляться, если люди с одной стороны и с другой стороны не захотят как-то соотнести свои миры, поделиться друг с другом своей картиной мира.

**Ариша, 23 года,
выпускница факультета культурной антропологии**

Я помню, что вечерами мы сидели дома, смотрели телевизор. А моя мама очень любит новости смотреть. Она все время смотрит новости, всю жизнь, по первому каналу. А еще так случилось, что все смотрели в тот период

«Санта-Барбару». Все. И про первую войну у меня воспоминания такие: машины с ракетами и «Санта-Барбара». Два в одном. И как-то «Санта-Барбара» перевешивала...

А со второй войной у меня ассоциации довольно определенные в том, как она началась. Я помню точно такие же машины, самолеты, стоит Путин и говорит про «сортир». У меня точно так и осталось. Мы думали: «Да, эти боевики, конечно, их надо победить, чтобы в России было хорошо».

Мы об этом никогда вообще не разговаривали. Ну, потому что это каждый день было в новостях, а когда это каждый день, то перестаешь замечать, и это становится чем-то обыденным.

А вот людей совсем не показывали, только про то, как мочат боевиков, а людей – никогда. Не было людей...

Ирина, 26 лет, специалист по работе с молодежью

Каждый раз, выезжая из Ингушетии и въезжая в Чечню, я чувствую смерть. Тут она повсюду. Все вокруг безжизненное. На полях ветер колышет травы, слышно пение птиц, вдали видны горы, и только жизни нет в этом пейзаже. Вся эта земля взорвана и пропитана кровью. Труднее всего находиться в Грозном. Грозный сейчас – это надгробная плита, могильный памятник городу, некогда процветавшему на этих землях. Как и положено богатому при жизни человеку, после его смерти ставят большую и дорогую надгробную плиту. Город был превращен в руины, а теперь ему возводят надгробие.

Когда в 2000 году в Чечне шла война, я была подростком и мало смотрела телевизор. О том, что в Чечне идет война, я слышала один раз. В поселок, где я жила, привезли парня в гробу. Он тоже жил в этом поселке, и за год до этого ушел в армию, проходить срочную службу. Тогда говорили, что машина, за рулем которой он ехал, сорвалась с горной дороги. На его похороны пришли почти все жители поселка, все плакали, и даже я, хотя не была с ним знакома. Прогремели залпы ружей, и люди потихоньку разошлись. Потом еще какое-то время говорили, что офицер, которого он вез, остался в живых, и в этом отчасти была заслуга погибшего парня, но на похороны офицер не явился. Это и было предметом разговоров и недовольства. И все. И о войне в Чечне забыли. Возможно, о ней вспоминала только мать погибшего парня, которая почти каждый день рыдала на могиле сына.

**Маша, 25 лет,
аспирантка факультета управления**

Когда-то я услышала слова Адама Михника: «Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа». Можно сказать, что с этой точки зрения я настоящий патриот. Меня разрывает изнутри чувство боли и стыда за свою страну.

Слово «актуальность» для меня, применительно к теме войны, не совсем точное. Я бы сказала «постоянность». Постоянность этой темы объясняется тем, что ранее она воспринималась исключительно с положительной стороны: есть хорошие «мы», которые совершают героизма, партизанят, защищают идеалы, и есть плохие «они», которые пытаются «нас» захватить и поработить. Далее должна звучать пафосная музыка и что-то там про то, что «врагу не сдастся наш гордый «Варяг».

А что делать, если «они» – это и есть «мы»? Что делать, если «мы» за тысячу лет существования государства просто не научились уважать самих себя? Что делать, если «они» не хотят жить, как «мы», и имеют на это право? Что «мы» такого сделали, что никто не хочет с нами жить в одном общем государстве?

**Карина, 34 года,
преподаватель русского языка как иностранного**

Я жила все это время с ощущением, что происходит что-то страшное и ужасное. И мне важно было не через газеты, не через телевидение, а в личном общении узнать, как тогда люди жили, что они чувствовали, что они испытывали, как они это пережили. Мне хотелось им в глаза посмотреть: мне всегда кажется, что откровенный разговор помогает обойти острые углы, избавиться от того, что мучает. Когда ты видишь перед собой человека мыслящего, переживающего, страдающего, то начинаешь относиться к его истории не как к капельке в водовороте исторических событий, а как к важной части твоей собственной жизни, которая была почему-то вытеснена из памяти и вот теперь вспоминается. И это всегда влияет на отношения между людьми, это сближает. Мне бы хотелось, чтобы чеченцы и русские начали этот путь к сближению, потому что долго находиться в состоянии противостояния – просто невозможно. Боюсь, это может привести к трагедии, к очень печальным последствиям.

**Дарья, 26 лет,
выпускница факультета публичного права**

Услышать правду, живую правду, которая способна изменить.

Я хочу узнать правду, то, что люди видели своими глазами, а не то, что показывали по телевидению или писали в газетах. Хочу почувствовать себя частью истории своей страны.

Это попытка сделать первый шаг в разговоре о прошлом, которое от нас тщательно скрывают. Представить другим людям, которые никогда не слышали живую историю, разное видение событий, разные ощущения и разные судьбы. Таким образом, появится многоликая картина прошлого.

ЖИЗНЬ ДО

Как вы жили до войны?

Лиля, 51 год

В довоенные 90-е годы, в Чечне, как и по всей России, был хаос, разруха, никаких выплат, в общем, был очень тяжелый период для всех семей, потому что не было ни пенсий, ни пособий, ни зарплат, и хотя мы с мужем оба работали, но денег не давали. Я работала в педучилище, преподавала – какой-то костяк коллектива у нас остался, потому что мы думали, что если мы все оттуда уйдем, то это здание разберут на кирпичи, как это случилось со всеми зданиями, которые пустовали. Поэтому мы без зарплаты работали, потом, в какой-то момент, начали собирать со студентов плату за обучение, так и выживали. Перед войной я предложила нашему директору открыть Базовую школу при педучилище, чтобы сохранить тот коллектив, который остался. Из-за того, что происходило тогда, преподаватели уехали, в основном русские все поуезжали, и уехали многие студенты. Наше училище было самое большое по России из педагогических училищ – 1200 студентов, 120 преподавателей, еще персонал средний, а потом все меньше и меньше людей оставалось, количество часов сокращалось. И вот, чтобы как-то сохранить учителей, дать им зарплату, мы решили открыть Базовую школу. Это была моя идея, и хотя я была самой младшей в коллективе, но директор доверил мне самой стать руководителем этой школы. Мне было тогда 30 лет, и я ждала ребенка. Я не могла объяснить директору, что уйду в декрет, потому что он старше был, чеченец. Я пыталась объяснить, что я младше всех в коллективе, что меня не так поймут, возьмите другого директора. Он сказал: «Если это ваше детище, ваша задумка, вы это сделаете лучше других». И вот перед самой войной я открыла эту Базовую школу при педучилище, туда же поступил мой сын. У нас коллектив был интернациональный, много русских преподавателей было.

Один из преподавателей мне сказал, здесь ничего хорошего вас не ждет, уезжайте, вы умные, молодые, у вас перспектива, уезжайте отсюда, и лучше – за границу, здесь будет война. Тогда для меня это было дико: как это война может быть?

Сацита, 48 лет

Мы с мамой жили вдвоем. Нормально жили по тем меркам, у нас был хороший домик, свой сад. Мама у меня – трудяга страшная, трудолюбивая женщина, да и я не лентяйка. Не скажу, чтобы мы очень в достатке жили, это был, конечно, средний достаток. Мне приходилось, допустим, чтоб заработать себе на пальто, работать три месяца, на туфельки работать – два месяца, и так далее. Была карточная система.

Проявление национализма – может быть, это было. Но не в обиду будет сказано, я это даже больше в вину ставила русским, потому что нам все-таки не то чтобы запрещалось, а как-то не поощрялось говорить и писать на своем родном языке. Более того, на работе начинал говорить на чеченском языке, и тебе в очень грубой форме делали замечание: «Говори на русском языке!». Но, наверное, это не влияло на то, чтобы вот так массово противопоставить две культуры, два языка.

Веда, 28 лет

Мама – учитель истории и географии, отец – учитель математики. Они работали в школе до войны и во время войны, преподавали. Есть два брата, и две сестры – нас пятеро. Мы жили в селе. Я маленькая была. И жили – ну, работали, играли, учились – как-то по-сельски. До войны в Грозном в основном было много русских, у нас учителя были русские. И, я помню, в первом классе нам дали учительницу русского языка – было необычно, интересно, потому что мы ничего не понимали и не понимали домашние задания. Я помню, как забавно было.

Различия были именно из-за языка, по крайней мере, в таком возрасте. Я себе никогда не думала, что есть мы – чеченцы, и есть другие. Мы в семье, дома никогда этим не занимались, как-то в голову даже не приходило. Да, мы говорили по-чеченски, но все равно, учителя в школе были русские.

Я в садик не ходила, а в школе дружила с одноклассниками и одноклассницами. Но там не было детей другой национальности – только чеченцы. В таком возрасте обычно все вместе играли, мы тоже играли вместе – в вышибалы, классики, войнушку, прятки, турникеты – это наше любимое, с утра до вечера.

Аркадий, 35 лет

Мы – москвичи, коренные москвичи. Мама у меня учитель русского языка и литературы, папа – инженер был, работал с космосом, в частности, послед-

ний его проект – он делал штангу-держатель для системы «Энергия» – «Буран», то есть не последнюю должность занимал в космической сфере. Но папа у меня умер в 96-м, как раз, когда я в армии был.

Ну, как мы жили до войны? Как все мы жили до войны. Денег не было, маме и папе платили копейки какие-то. Как Советский Союз развалился, в «лихие» 90-е жили как все, обычная стандартная семья. Отец ни воровать, ни в коммерцию никуда не пошел, потому что он не умел ничего этого делать, так и работал в космической отрасли, мама работала учителем. Школу я закончил, если не ошибаюсь, в 93-м году, и в 95-м поступил в институт – Современный гуманитарный университет, это такая была тогда шарашкина контора, куда можно было поступить без экзаменов и за самые маленькие деньги, поэтому я туда и пошел. На юридический факультет. Два курса там отучился, после чего мне пришла повестка.

Али, 22 года

Мы жили в городе до начала войны, но я был маленьким. Я помню, что нас в семье было пятеро детей, я был самым младшим. Родители работали, я не помню, где они работали. В садик никто из нас не ходил. Мы, особенно в свободное время, во дворе играли. Мы жили в квартире, и мы очень любили баловаться. С балкона сбрасывали разные пакеты с водой, так баловались. Я был очень спокойным ребенком в семье и в школе. Я стеснялся всего, учителя ко мне всегда очень хорошо относились.

Я знал, какой я национальности, потому что на чеченском разговаривал. Во дворе, когда мы игрались, с нами были еще ребята других национальностей. Просто они с нами на чеченском разговаривали, потому что они знали чеченский язык. Но они, конечно, внешне не выглядели, как мы. Мы черненькие такие, а они более светлые. Но мы на это абсолютно не обращали внимания. Я помню, наши матери сидели на лавочке, на русском разговаривали. Значит, они русские были. Я помню, что на праздники нам приносили цветные яйца разукрашенные, то есть это Пасха была, и мы их приглашали, когда у нас Ураза. И на праздники друг к другу ходили, на свадьбу – все вместе. А эти ребята, которые с нами играли, они очень четко танцевали лезгинку. Хотя я чеченец и до сих пор не умею танцевать лезгинку, а они танцевали. Нормально было. И я не знаю, какой они национальности были, но точно – не чеченцы. И различия – ты не чеченец, а ты чеченец, этого не было у нас никогда.

Руслан, 24 года

Я сейчас просто не могу вспомнить, чтобы какие-то различия между нами были. Просто к нам приходили русские, и мы ходили к русским. У нас армянская семья бывала, мы к ним ходили. То есть у моего отца, он же в Грозном родился-вырос, они и на русском разговаривали. Отец не позволял дома говорить, а так они, в основном, между собой даже – на русском. И у них все в основном русские, армяне, евреи – кого только в друзьях не было...

Аза, 23 года

Жили мы всей семьей в селе. Это до начала войны, мне было где-то пять лет. В садик я не ходила, потому что к этому времени я уже умела и читать, и писать, и необходимости в этом не было. Жили мы, можно сказать, хорошо. Мама не работала, она домохозяйкой была, а папа работал бухгалтером. Это было очень маленькое село, всего 7 улиц. Жителей было мало. Брат у меня один, он младший самый в семье, как раз в год его рождения, 94-й год, началась война. И три сестры, все они сейчас замужем. Одна старше меня, двое младше.

Не могу сказать, что разницу между людьми замечала. Я помню детей соседских, у нас в селе много русских семей было, и мы с ними дружили, и разделения никакого абсолютно не было. Русский, чеченец, армянин или еврей – этого ничего не было. У нас были в основном русские соседи, ну, и чеченцы, и ингуши тоже встречались. В то время мы общались и даже не спрашивали, кто твои родители – чеченцы или русские? Мы общались, как дети, играли, все нормально было. Опять же, мои друзья были и русские, и чеченские дети. Я думаю, что тогда различий не было. Это появилось позже.

Минат, 26 лет

Я была вообще-то таким ребенком непослушным, постоянно где-то играла, часто смеялась, и соседи меня называли «смеющаяся девочка». И всегда я была впереди всех наших, соседских детей, – где больше хулиганили, там я всегда была первой, и по деревьям лазила. Отец и все называли меня мальчиком: «Лучше бы ты мальчиком родилась». А мама говорила: «Хорошо, что ты не мальчик, а то проблем еще больше было бы». Я любила литературу, историю, арабский язык. У родителей образования не было, они работали в селе. Ходили за дровами, ну, продавали, тогда же газа не было, это тут все-таки сейчас провели. Там трудно было, у нас в селе даже сейчас редко автобус бывает, водителям невыгодно, людей не бывает.

Сейчас, наверное, я не смогла бы в селе жить, я уже давно от этого отвыкла. Но все равно иногда тебе, конечно, села не хватает, надоедает городская суэта, ты убегаешь от всего этого, проходит три–четыре дня – и все, тебе уже не хватает этого шума.

Марем, 49 лет

Получилось так, что в первую войну люди не верили, что с нами могут воевать россияне. Никто не верил, я тоже не верила. Я училась в институте, где было представлено много национальностей. Я воспитана была на русской классической литературе, которую читала с детства. Я привыкла смотреть фильмы про Отечественную войну и там видела, что «наши» – это все национальности, которые воевали в составе России, а враги – это немцы.

Вячеслав, 58 лет

Я родился в Дагестане и знал их менталитет по-настоящему. Я прошел все эти места еще в юности. И в Чечне много раз был.

Я прослужил 27 лет в армии и прошел Афганистан, был замкомандира батальона в Афганистане с 85-го по 87-й годы. В тот период было так, что в 95-м году моя семья уехала в Израиль, первая семья – жена, дочка, тогда ей было 15 лет. Я носил погоны и не мог никуда уехать. И поэтому я не выбирал, мне что сказали, то я и делал.

Наталья, 72 года

До первой войны, а конкретно – до прихода к власти Дудаева – мы жили нормальной человеческой жизнью. То есть у меня была двухкомнатная приватизированная квартира, была работа, учителем русского языка и литературы я работала. Было много друзей, знакомых. С приходом Дудаева к власти все изменилось. Во-первых, зарплату перестали в 90-е годы платить, не получали уже зарплату мы. Дальше, было еще постоянное это нагнетание...

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ

Какие были предвестники, признаки начала войны?

Аминат, 67 лет

Во-первых, это был период, когда в республике начались финансовые проблемы. Республика была плохо управляема. В общем-то, было много беспорядка. Резко возросла преступность. Это был период брожения. Когда Советский Союз развалился на части буквально в одночасье, и союзные республики стали самостоятельными государствами, Чеченская республика сразу отозвалась на эту тенденцию. Хотя мы были автономные республики, но, тем не менее, вот эта центробежная сила нас захватила. Общество в Чечне было захвачено этой силой, увлечено этим движением.

Для этого, я считаю, были исторические причины. Если вернуться назад, в прошлое чеченского народа, там накопились все моральные, психологические, исторические причины для такого стремления. И это сработало. Чечня сразу включилась в этот процесс, и сложились движения, партии, политические силы. Прозвучали заявления о том, что Чечня тоже хочет стать независимой страной, республикой. Были те, которые за, и те, которые против.

И через каждую чеченскую семью прошел разлом. И в нашей семье тоже. Например, мой брат и моя личная семья, они были сторонниками независимости. Открытыми сторонниками независимой Чеченской республики. Мой муж в этом сомневался, говорил, что это авантюра, что нам не туда надо идти. Да, мы хотим быть свободными и независимыми, но в нас нет достаточных сил, возможностей. Мы не готовы. И приводил аргументы, географические, исторические, экономические. И вообще, говорил, зачем нам быть отдельным государством? Это значит, создавать армию свою, полицию, свои таможи, границы. Это слишком нерационально для нашего народа.

Честно сказать, у меня не было в этом отношении твердой позиции. Я с пониманием относилась к тем, кто боролся за независимость. Я знаю, что история наша к этому нас вела, толкала, что это не было таким вот неожиданным, спонтанным, импульсивным решением части народа. Это был результат истории. Это было состояние практически всего общества. Люди вспоминали историю войн, всех войн за независимость и свободу. На разных этапах столкновения Чечни с Россией носили разный характер. В какие-то

моменты это были просто стычки с армией. В какие-то периоды это было организованное сопротивление с политическим выражением собственной воли. Но чеченское общество всегда знало, что это была военная экспансия России на Кавказ, и что мы как народ стали жертвой этой экспансии. Уже этого было достаточно для того, чтобы вызрело в тот момент желание быть независимой страной. То есть восстановить свою былую свободу.

Сильным аргументом против того, чтобы оставаться добровольно в составе России, были воспоминания о выселении в Казахстан, в Киргизию. То есть депортация чеченцев вместе с другими народами в конце Отечественной войны, выселение 1944 года. Эти жестокости, эта несправедливость, это постоянное подавление народа как такового, оно вызывало еще более сильную реакцию – хотим быть независимым государством. Были даже такие аргументы – мы не хотим, чтобы кто-то нас выселял с нашей родной земли, с нашей родины. Пока мы будем частью какой-то незнакомой нам страны, у них будет стремление выселить, переселить, выгнать или даже уничтожить полностью этот народ. Советский Союз и его предшественница Россия были такой страной, которая хотела иметь нашу чеченскую территорию, но без чеченцев. Вот эти мысли, конечно, укрепляли желание стать независимой республикой. И находились те, которые были одержимы этой идеей. А сама Россия в этот период просто не была готова и не способна работать с этим политически. Только что был распад Советского Союза, только что сложилось Российское государство. И еще внутренних проблем было много в государстве, и не до Чечни было. И поэтому у нас была объявлена независимость, и была попытка сконструировать государственную систему. Попытки эти шли, конечно, с большими ошибками, недостатками, трудностями. В общем, российскому центру в тот период было не до Чечни, и Ельцин, так сказать, отпустил эти окраины в свободное плавание, особенно Чечню. Еще даже были такие слова – берите суверенитета столько, сколько вы можете проглотить. Такая фраза прозвучала как поощрение этих движений.

Я видела митинг за независимость Чеченской республики. И тогда уже разошлись слухи, что к границам сдвинуты военные подразделения, и над республикой летали военные самолеты. И летали они очень угрожающе. На этом митинге собрались тысячи и тысячи людей. И истребители занижались над митингом, над людьми, над этой площадью так низко, так опасно низко, настолько, что были видны лица летчиков. Они делали виражи стремительно. Да, целенаправленно, как будто бы пикировали вниз над митингом, люди шарахались в разные стороны, падали, бежали, толкали друг друга, травмировали друг друга. И в последний момент этот самолет вдруг поднимал нос и

взмывал кверху, отлетал немножечко дальше и снова делал круг, и снова делал такой угрожающий маневр. И тогда я поняла, что политического обсуждения вопроса независимости не будет.

Рамзан, 57 лет

С того момента, как Горбачев дал эту некую свободу говорить, писать, митинговать и прочее, я думаю, что эту ситуацию хорошо почувствовали люди, которые желали оставить Россию. То есть сразу вставала картина геополитики. Внутри России, естественно, есть такие силы, и сами по себе, и поддерживаемые Западом, скажем так, и Запад всегда заинтересован в том, чтобы Россия не была сильной и конкурентоспособной. Сошлись интересы сил, которые хотели создать здесь конфликт. Очень удобно получилось это сделать именно с чеченским народом в силу того, что много было исторических обид, много погибло наших предков в период царизма, и вот это выселение, и коллективизация. Много религиозных деятелей репрессировано, еще до депортации. В силу этих обид легко было нас подвергнуть ложной идее и повести в каком-то таком ложном русле, что и произошло. Появление Дудаева как раз и было началом такого сценария, который должен был расколоть наше общество, создать непримиримую конфронтацию, что дало бы основания ввести войска. И уже было понятно, с появлением двух митингов, продудаевского и антидудаевского, что это ни к чему хорошему не приведет. Сложилась тупиковая ситуация, и было понятно, что что-то должно произойти. За этим должен быть какой-то ход Москвы. Никто не предполагал, в какой форме, в каком объеме, какими методами это будет сделано.

Дело в том, что продудаевский митинг исключал нахождение республики в составе России. А это и тогда, и сегодня, с точки зрения здравомыслящего человека, невозможно. Исторически и иерархически, всячески, сложилось так, что мы живем в России. Наша психология, образ жизни, все говорит, что это уже предопределено, другого пути практически нет. Мы русские. И моя школа, мои увлечения, и русская классика, и Пушкин, и Лермонтов, для меня это настолько близко, что я не знаю таких же ярких имен с Востока в литературе или в какой-то другой сфере. Поэтому мой выбор был однозначен. Я бывал время от времени на антидудаевском митинге, понимая, что дудаевский митинг – это путь в никуда, Россия нас не отпустит, чтобы не создавать такой прецедент. Когда одно звено уходит – рассыпается цепь.

В общем, я достаточно активную позицию занимал в то время, но постепенно меня одолевала апатия, потому что было понятно, что все обречено,

что ни антидудаевцы не выиграют эту борьбу, ни дудаевцы. Мы уже затаили дыхание – вот, что же дальше, что дальше может произойти.

Марем, 49 лет

Была какая-то у всех эйфория. У меня по поводу Дудаева, скажу вам честно, не было эйфории. Потому что история учит тому, что, когда военные правят государством... Они люди другой жизни. Конечно, без них жизнь, может быть, и невозможна, но они из другой среды. Они не очень щадят мирную жизнь и человеческие жизни. Они привыкли получать приказ и исполнять его во что бы то ни стало. Вот поэтому я настороженно относилась к тому, что военный пришел к власти в Чечне. Хотя до политики мне не было никакого дела, честно говоря. Ну не стреляют – и хорошо.

Я испугалась, когда была инаугурация Дудаева, потому что было очень много народу – будто вся Чечня собралась на одной площади. Я, по-моему, на работу шла, и я не смогла добраться до работы. Меня это очень перепугало в тот день.

А когда вышли первые танки, как будто бы оппозиция входит в Чечню, а на самом деле это были российские танки с российскими ребятами. И вот эти танки стреляли по домам. Я опять не поверила. Я подумала, что это кто-то обманутый, что так не может быть. Войны просто не может быть, потому что ее не может быть.

Сацита, 48 лет

Для Чечни 92-й год – это, наверное, особенный год, это время хаоса, время уже беспокойное. Такое, когда в городе появляется много оружия, непонятные люди и непонятные БТРы. И уже в воздухе что-то витает, и ты веришь все-таки в лучшее, а в худшее не хочешь верить.

К тому времени, в 92-м году, я уже стала директором. Из тридцати трех библиотек, я помню, сдавала статистику в МВД, – наверное, 17 библиотек уже были варварски разграблены, заработную плату нам не выплачивали. Люди выживали, чем могли, но мы с мамой научились очень скромно жить, нам хватало. И ни на одну минуту, как тяжело ни было, я не бросала своей библиотеки. И мы все знали, вернее, ждали, что должен рухнуть этот режим, так сказать, Джохара ичкерийский режим, он должен рухнуть, и должно что-то произойти, потому что в народе настолько противостояние было мощным, настолько сильны были гражданские позиции, что если бы не ввод этих

войск, то, уверяю вас, Чечня могла бы даже мирным процессом... Ждали, что-то поменяется, и поменяется в лучшую сторону.

Раздался телефонный звонок, и нам сказали, что нужно идти на площадь Ленина. Я пришла, и там по две стороны стояли люди. Одни – вроде как вот за Джохара были, другие – вроде как против Джохара. Я, когда увидела эту ненависть в глазах людей, то поняла, что это никогда не закончится мирно, потому что за ниточку, все равно, и тех, и других кто-то дергает, то есть какие-то марионетки собрались. Я когда смотрела на толпу (я была, естественно, на стороне оппозиции), на ту сторону, я поняла, что-то произойдет нехорошее. Но мы надеялись, что по велению палочки Москва уберет Джохара Дудаева аккуратненько, отправит его опять к себе в Эстонию штурмовиком. Я думала, вот, я утречком встану, и все будет настолько здесь красиво, и эта же улица... Я поняла, что-то произойдет, но не война...

Вячеслав, 58 лет

Я в Эстонии служил в тот период, когда в Тарту Дудаев был командиром авиационной дивизии, я даже побывал в этой дивизии несколько раз, мне говорили – чеченец, такой-то, но я его не видел, не встречался с ним. Оказалось, в 90-м году он стал фактически президентом Чечни. И вот тогда заводы и предприятия были закрыты, и постоянно похищались деньги, несколько раз похищали людей. Ну, в 91-м, 92-м, 93-м, 94-м. Миллионами похищали деньги, самолеты угоняли. Поезд «Махачкала-Москва», идущий через Грозный, постоянно грабили, нападали вооруженные люди и отнимали у женщин сережки, золото и так далее. Ну, бандиты были. В то время те, кто сидел в Чечне при Дудаеве, по большей части уголовники, были освобождены. Вот такая обстановка была.

Лиля, 51 год

Какие-то предвестники войны все-таки были, люди знали об этом. Была журналистка, которая у нас в городе работала, потом она уехала в Россию и там работала на радио. Она несколько раз звонила, знала мужа моего хорошо, и просила нас уехать потому, что ей офицеры высшего звена российской армии сказали, что в Чечне будет война – это было за несколько лет до начала войны. Опять же, это такая дикость была – как это может быть война! И потом, даже если она начнется, как мы можем уехать, кому мы нужны, и куда ехать? Поэтому мы, уже ожидая эту войну, жили в этой республике. Просто чудовищной казалась возможность войны в собственной стране.

У нас был период, когда какая-то часть интеллигенции была против того, что начиналось это деление, против стремления к суверенитету так называемому, ну я понимала, что суверенитет – это просто флаг, что все идет к тому, к чему в итоге пришло. Муж особенно много предупреждал людей, к чему нас ведут, я на своих уроках постоянно говорила об этом своим студентам, но ореол романтичности, независимости – все это витало в воздухе, и многие студенты, особенно с горных районов, были приверженцами этого Дудаева, считали, что мы все-таки сможем жить независимо и свободно. Я понимала, что нам не дадут жить свободно и независимо. Поэтому я была в оппозиции, там была интеллигенция в основном, а приверженцы Дудаева – это другая сторона. В общем, тогда, еще до войны, весь народ разделился на две части, и даже в одной семье. Брат против брата не воевали, но вот идеологическое разделение населения было. И многие мои студенты говорили, мы вас очень любим, но вы говорите такие вещи, которые мы не можем принять, нам родители одно говорят, а вы другое. Потом многие из них поняли, что я была права, и после войны мы встречались, они мне говорили, жаль, что мы вас не послушались, жаль, что народ не был настолько умен, чтобы понять заранее, что нас к этому ведут. Открыли потом глаза, увидели, кому это нужно было, и к чему это привело.

Аслан, 24 года

В то время мы с отцом ходили на митинги. Я видел нашего первого президента Джохара и понимал, что люди чем-то недовольны, что люди хотят чего-то добиться. Все это я четко осознавал, мне было 6 лет, все начиналось, и с отцом мы очень часто ходили на митинги. И после войны мы ходили на митинги. Отец был ярким сторонником независимости. Никогда не был сторонником войны, но был сторонником независимости.

Минат, 26 лет

В первую войну я была ребенком, и помню, как там эти боевики, молодые ребята, разъезжали по нашей улице и кричали о чем-то светлом, ну, у них дух был такой: «О, мы победим, у нас свобода, своя республика». Тогда я все это воспринимала как такое очень хорошее дело. Хотя я была ребенком, мне это нравилось, думала, что это такое важное дело, за которое они отдают жизнь. Но потом, когда нам дали эту «свободу», и когда особенно началось все, ну, избивали тех, которые попадались, – пьяных, девочек, которые с разрезами (речь идет о юбках с разрезом – *прим. ред.*) – нападали на них тоже,

оскорбляли. Тогда я понимала, что этого не должно быть, ну так же не делается. Ислам – это религия добровольная, каждый человек выбирает для себя, это его дело, он сам должен к этому прийти.

Али, 22 года

Начали бить других. То есть, это получается, русских. Выгонять из городов, убивать. Бежали все те, которые не чеченцы. Но это в первую войну не так было заметно. Это было очень заметно во вторую войну. У нас были соседи, через подъезд они жили. Старая женщина была, русская, и чтобы у нее квартиру отобрать, ее убили. Ну, я на это особо в то время не обращал внимания, родители, я помню, обсуждали, что как так можно, это вообще не по-человечески, осуждали эти поступки. Вот во вторую войну это уже началось, что чеченцы – они самые такие, и что остальных нужно выгнать, Чечня для чеченцев, типа. А в первую – я не замечал этого.

Началась вторая кампания. Я помню, мы праздновали Новый год. Отец приехал с работы и нам говорит: «Возможно, это последний Новый год, как мы все вместе встречаем». Но я был маленький, я не понял, потом уже начал думать об этом. И я до сих пор помню серебро около стола, еще он много этих бакусей (бакус, по-моему, такие шоколадки были) привез, мы ели, пили. На следующее утро мы поехали в село. Первое января. Я понял, что будет война, только тогда, когда начали бомбить наше село. До этого я не понимал.

Руслан, 24 года

Для меня очень странным было: соседи, две женщины, мать и ее дочь, дочка была от чеченца. Чеченец, отец, был в Москве. Они уехали в Москву, то есть поехали якобы в отпуск. Ключи у нас остались от квартиры. Ни вещей, ничего не забрали. Отпуск прошел, они не приезжают. Война прошла, они не приехали. Квартиру, по-моему, мародеры растащили. Они отказались от этой квартиры, там сейчас другие люди живут, государство выделило. Просто было странно – мы постоянно к ним заходили, постоянно они к нам...

Аза, 23 года

Да, я помню, как началось какое-то волнение, напряжение, но родители нам почему-то ничего не говорили. Я помню, как у нас стали запасаться продуктами, обычно мы этого не делали, нам всего хватало, был свой огород. У нас же села, все сами выращивали. Но почему-то начали запасать продукты, и люди стали какими-то очень напряженными. Это очень чувствовалось,

но нам ничего не говорили. Я не знаю, почему. Но что война, такой мысли не было. Она не возникала. Это был как раз 94-й год.

Я просто не могла понять, почему это все началось.

Аркадий, 35 лет

У меня, в принципе, была отсрочка, но отсрочку я что-то брать не стал, решил отслужить в армии и пошел в военкомат, прошел призывную комиссию, попал к женщине-психиатру. Молодая такая, ну лет 30, наверное, красивая. «Ты, – говорит, – что?» – «Я в армию». Она говорит: «Ты что, дурак?» Я говорю: «Да нет, вот, хочу служить, Родину защищать». Она говорит: «Ну, давай сделаем так: пройдешь комиссию, если здоровый, я тебя отмажу «по дурке». Я говорю: «Ну, давайте». Прошел всю комиссию – здоровый, прихожу к ней, говорю: «Я не хочу ничего отмазываться, давайте, в армию пойду». – «Нет, давай, ты пойдешь, полежишь три недели в Кащенко, а там посмотрим». И она меня отправила. Я три недели отлежал в 17-й психиатрической больнице по наркологии. А косить все равно не стал, но пропустил свой призыв и ушел не весной 95-го, а осенью 95-го. Пропустил Бамут и весенний штурм Грозного, за что я этой женщине, в общем-то, благодарен.

Ну что, 18 лет парню, что там я мог знать? Конечно, по телевизору смотрел репортажи, видел горящие танки в Грозном, понимал, что там идет война, но в военкомате-то речь о Кавказе сразу не идет, меня отправили на Урал. Самые мои основные опасения и страхи были не столько касательно войны, сколько касательно дедовщины, потому что о дедовщине тогда писали много, вся эта чернуха пошла, все стало известно про дедовщину. Я больше всего, конечно, боялся дедовщины и, надо заметить, что опасения мои оправдались в полной мере.

А про Чечню, ну, я не знал вообще, где эта Чечня. Я знал, что где-то в Чечне идет война, а что, почему, зачем – не имел никакого представления.

НАЧАЛО

Как началась война?

Наталья, 72 года

Я жила одна в двухкомнатной квартире. Родственники все поехали. Брат у меня был жив, жену похоронил, но у него своя квартира была, и мы жили – он там, боялся бросить свою квартиру, а я здесь, в своей двухкомнатной. Соединиться тоже он не хотел, потому что дочка у него где-то на Украине была, хотел, чтоб она приехала, и квартира ей, и имущество, все.

Вот, все равно! Какая-то все равно надежда была, что это недолго будет, что это все закончится, и опять настанет мирное время. Понимаете? Жили такой надеждой. Хотя происходило страшное, потому что танки зашли в город, самолеты боевые летали, бомбы бросали, снаряды летели с этих дальнобойных орудий. Вот, это война! И уже жертвы были, люди погибали. Поэтому я думала: «Ну, может быть, в Москве, в других городах России люди поднимутся против этой войны, заставят власть остановить войну». Потому что любая война – это гибель, и гибель не только солдат, но гибель и мирных жителей, ни в чем не виноватых. Однако не прекращалось все это.

Все сверху шло. Это страшное дело, война в Грозном, просто жутко вспоминать. Первая чеченская война, она началась в ноябре где-то, 1994 года. Я помню, Новый Год встречали, 95-й год, тогда Грачев там день рождения отмечал и решил нанести удар. Ой, ужас! Как мы там сидели, семьи собрались, ну, стол накрыли, решили встретить Новый год, и вот они полетели, эти снаряды. Ой, разбежались все, где подвал, кто под кровать, повывлетели стекла в окнах, зашаталась косяки в дверях. Мы метались, не знали, какой угол найти, чтоб спрятаться. Вот такой Новый год у нас был, так встретили 1995-й год.

Марем, 49 лет

Танки вошли двадцать шестого-двадцать седьмого ноября. Это был предлог, чтобы войти в Чечню уже настоящим войскам. Сначала пустили несколько танков, и когда пленили этих ребят, тогда сказали, что они были не от нас, наше государство туда их не посылало. Ребята были в шоке, они не понимали. У них спрашивают: «Вы чей приказ исполняли?» Они называют часть, командира и так далее, а командир тут же где-то дает интервью, говорит: «Нет, я такой приказ не отдавал, их не отпускал. Они – дезертиры. Они будут

еще отвечать за порчу государственного имущества, танков». Танки испортили, понимаете? Вот это предательство шокировало меня настолько глубоко... Я-то привыкла считать, что у военных все свято, что за своего можно все что угодно сделать. Я думала, что тут же прилетят на самолете в Грозный, заберут ребят и еще извинятся – я так это представляла. А когда вот это – я поняла, что будет большая беда.

Потом прилетели самолеты. Самолеты сначала просто так летали. Но они летали так низко, с таким грохотом. Военные, тяжелые бомбардировщики. И город стал сразу какой-то черный. Черный город. И вот, когда 10 декабря шли войска, продвигалась колонна, по телевизору показали, что эту колонну встречали ингуши. Мирные люди ложились на дорогу и говорили: «Не пустим! Не нужно с нами воевать! Вы видите, мы безоружные. Зачем мы будем убивать друг друга?»

Когда я брата ездила искать на Ханкалу, там был К., он тогда у них там какой-то пост занимал, и он попросил отвести его к российским матерям. И вот собралось много женщин, он им говорит, что сегодня будто бы, в ОБСЕ должен произойти обмен всех на всех. Я была в шоке от того, как он обманывал этих матерей. Я начала плакать и кричать: «Он вас обманывает». Ко мне автоматчики подошли, и меня, наверное, избили бы, но эти женщины за меня заступились, забрали в свой круг и сказали: «Не позволим!» И потом с этими женщинами мы общались в офисе ОБСЕ. Мне их страдания были знакомы. Я знала, что их детей наверняка уже нет, потому что в городе до сих пор лежат на улицах трупы, а в какие-то здания вообще не пускают – оттуда шел трупный запах невозможный. Санитары постоянно куда-то увозили трупы. Они прятали эти трупы, понимаете? Было понятно, что очень многих нет в живых. А эти женщины, они с такой надеждой обращались и ко мне, и к другим женщинам-чеченкам, которые тоже искали своих.

Они выяснили, что мой брат жив. «Ну, пожалуйста, твой брат жив, мы тебе поможем. Мы его обменяем, пожалуйста, родная, помоги. Вот у меня Женечка, он совсем молодой, ему 19 лет». И вот что скажешь? Что сказать, понимаете? Это страшно. Ничто, никакая политика не может быть оправдана такими жертвами.

Вячеслав, 58 лет

Когда начались эти действия в декабре месяце... Сначала в ноябре мы должны были поддержать местную оппозицию в Чечне, и тогда министр обо-

роны Грачев отказался от своих солдат, потому что этих солдат нанимало ФСБ. Ощущение было такое, что Ельцин считал, или власть считала, что как только танки появятся – все. Вот вы с танками войдете, и все сдадутся, но чеченцы не сдались и начали эти танки уничтожать.

Я работал в военкомате в городе Жуковском с 92-го по 95-й год. Дело в том, что до 92-го года я был в Германии, служил. И когда начали выводить войска из Германии, я стал в военкомате работать, три года провел в военкомате. И я призывал ребят, тех, которых видел в войсках в Афганистане, людей, которых не должны были призывать в армию по тем или иным болезням. В Афганистане были и психически неполноценные люди, впоследствии были такие и в Чечне. И вот, работая в военкомате, я там был единственный «афганец», я сразу сказал: «Ни один человек, ни один больной человек не будет призван». И врачам сказал так: «Вы своих детей не хотите в армию посылать, что же вы других детей в армию посылаете? Мне плевать на план». Военкомат занимал 46-е место из 47 военкоматов Московской области, мне было абсолютно все равно – уволят меня, хорошо, у меня выслуга лет уже была. Это в 92–95-м.

Я не собирался ехать в Чечню. И когда наши войска вошли в Чечню, я подумал: «Елки-палки, они что, ненормальные?». Я же видел нашу армию в Афганистане во время боевых действий. Позиция моя была такая, что лучше бы нас там не было. И вот делают подобное в Чечне.

Элла, 71 год

Осенью 94 года к нам прибежали солдаты, которых насильно загоняли автоматами и собаками в самолеты. Ребята убежали от этого, они рассказали, что их отправляют в Чечню. В Чечне тогда не было чрезвычайного положения, чрезвычайное положение было только в Южной Осетии. Поэтому в декабре мы не понимали, что происходит. А дальше вдруг произошли события, когда в новогоднюю ночь были убиты солдаты, они лежали на улице Грозного. Ельцин отказался остановить огонь и похоронить умерших, Дудаев тогда просил его об этом. Это мы тоже видели по телевидению. И тогда мы решили все-таки узнать, это была инициатива телевизионщиков, Павла Лобкова, журналиста. Он тогда был на НТВ, позвонил и сказал: «Попробую поехать в Каменку, откуда эти солдаты прибежали». Мы тогда не имели такого доступа, как сейчас, в воинские части, мы не знали даже, где это, а отправка тогда была из Каменки.

Каменка – это под Выборгом, сто километров. И ребята оттуда пешком шли. И мы тогда сели на машину НТВшную, поехали, и сами разведку провели, танковые следы нас привели в эту Каменку. Это был январь 95-го года. Уже было известно, что люди убиты, гробы были, а в то же время зомбированные родители на КПП своих сынишек кормили курицами, а сыновей должны были отправить туда. И когда мы им говорили: «Забирайте своих сыновей, вы знаете, что происходит?» – от нас отмахивались. Хотя мы там встретили одного отца, он сказал: «Я военный, я приехал забрать своего сына, я его не отдам». И тогда НТВшники сняли несколько таких сюжетов, а дальше поставили меня перед воротами воинской части и сказали: «Ну, скажите что-нибудь». И я сказала: «Родители, в чем дело? Ваших сыновей сейчас убивают, зачем вы это терпите? Забирайте своих сыновей!». Через какое-то время несколько родителей приехали из своих городов, сказали, что видели этот сюжет, и для них это было как спусковой крючок, они включились как родители, возмутились и стали действовать.

В это время режим чрезвычайного положения существовал только в Южной Осетии, а войска завели в Чечню незаконно. А батальон, с которого отправляли, как раз был миротворческий, у него были все эти знаки миротворческие. И вот ребят, солдат, чтобы отправить туда, через этот батальон пропускали. Миротворческий батальон отправляли на войну. Ни по какому закону нельзя было этого делать, они нарушили все правила военной этики, их из разных родов войск пропускали через эту воинскую часть, миротворческий батальон. И списки писали карандашом (эти списки мы получали), переодевали ребят, переоформляли документы – и отправляли. И во многих военных билетах первая запись была «за штатом». Я спрашиваю: «Что такое «за штатом»? – «Это значит, что этот человек нигде не числится».

Аркадий, 35 лет

Привезли нас в «учебку» на Урал в январе и я попал в войска связи, полгода мы там занимались. Вот это был единственный момент за все мои годы службы в армии, где армия была такой, какой надо, то есть там было интересно, там нас действительно учили, мы получали профессию, дедовщины там особо не было. Ну так, били... Но потом я понял, что это не дедовщина, а так, легкие поглаживания, «шлепки по попе» были. И через пять месяцев, в мае, мы уже закончили учебку. И тогда нам начали говорить, что в принципе это такая учебка, которая создавалась именно под Афганистан, и эта учебка

заточена на все войны, то есть когда шел Афган, 90 процентов уезжало в Афган, как началась Чечня – 90 процентов ехало в Чечню. И начали говорить, что, скорее всего вы попадете в Чечню. Тогда я начал задумываться. Я был таким романтичным мальчиком из московской рафинированной семьи, и надо признать, что на войну-то мне хотелось по всем этим детским представлениям. Как ребенок себе представляет войну – героизм, ранения, красивая медсестра мне перевязывает раны, я с сигарой спасаю весь батальон, остаюсь один-единственный, герой России – такие представления были. И нам сказали: «Те, кто хочет ехать в Чечню, пишите рапорты». И я написал рапорт, что прошу меня отправить в зону боевых действий, республика Чечня. Но все эти рапорта не имели никакого значения, потому что те, кто не хотел ехать в Чечню, кто писал, что прошу меня не отправлять в Чеченскую республику, прошу меня направить поближе к дому под маменькину юбку, все мы в итоге оказались в одном вагоне, и все толпой вот так в Чечню и поехали.

Это было какое-то такое мальчишеское задорное возбуждение. Ощущение войны, ожидание подвигов. Было приподнятое настроение, прямо скажем. То есть никакой чернухи перед отправкой у нас не было. Чернуха началась, когда мы приехали в город-герой Моздок. В поезде все было весело, все было замечательно; нас набили по 13 человек в плацкартный кубрик, и там спать невозможно было, жратвы не было, не кормили нас, полтора суток мы там ехали в зимних шинелях, а там уже лето. Но все равно это как-то проходило легко, потому что мы не знали, куда едем.

А страшно стало в Моздоке. Когда мы приехали в Моздок, поезд остановился, и под окнами шла женщина, осетинка, и мы ее спрашиваем, такие все веселые, смешные, говорим: «Тетенька, а что это за город?» И она так посмотрела на нас, меня глаза ее тогда поразили, там пропасть уже в глазах была, то есть там уже все было понятно. Посмотрела на нас так: «Моздок, ребятки, Моздок», – и дальше пошла. А напротив как раз стоял эшелон с разбитой техникой, сгоревшей, которую везли из Грозного, из Чечни обратно. И вот тут вот стало нерадостно, прямо скажем, то есть поняли, куда приехали.

Привезли нас в Моздок, полторы тысячи человек, 6-го или 7-го мая 95-го. И нам до последнего не говорили, что нас в Чечню везут, нам всем говорили, что мы будем служить на Северном Кавказе, но не в Чечне. В Чечне вообще война закончилась, а те 80 погибших в сутки, про которых говорит телевидение, это все вранье, они погибают по своей глупости, а вы совершенно точно

попадете в Беслан на хлебозавод, будете там печь булочки. Конечно, голодному духу (на армейском жаргоне «дух» – молодой неопытный солдат – *прим. ред.*), чтобы попасть в Беслан, на этот хлебозавод – там очередь выстроилась. Вот и нам до последнего не говорили, что везут нас всех в Чечню, и только в поезде уже лейтенант говорит: «Вы что, так и не поняли? Все едете в Чечню». Нас с поезда сняли, мы прошли маршем до взлетки, километра три, наверное, до станции было, до аэропорта – пять, наверное. И в этот же день все полторы тысячи человек увезли в Чечню. Нас отобрали десять человек и оставили, я остался служить в Моздоке, в роте связи, и там служил числа до 14-го июля, наверное, до вторых выборов Ельцина. И, собственно говоря, война началась для меня в Моздоке, но не сама война, а вот уже это ощущение войны.

У нас был наряд, мы ходили на взлетку. Мы грузили гуманитарку, которая туда идет. При этом был наряд, который разгружал трупы, которые оттуда вывозят. То есть туда – гуманитарку, оттуда – трупы. А мы все это видели, разбитую технику в полк привозили, техника нашей роты сожженная, контуженные, раненые, в полк они возвращались. Вот примерно тогда война началась, тогда я начал понимать, что там, в принципе, воюют.

Рамзан, 57 лет

Какое-то психологическое преломление произошло. Мы, часть народа, и наверняка большая часть народа, была устремлена на совместную жизнь с другими народами России, была устремлена на Москву, и мы ждали оттуда освободителей. И когда все эти снаряды и бомбы стали рушиться на головы всех людей, независимо от того, устремлены они или не устремлены на Москву, то получился надлом – мы ждали одного, а получили совсем другое. Тогда все-таки была большая ошибка тех, кто управлял страной. Я имею в виду Ельцина, что решились именно такой мощью навалиться и бомбить. Сколько русского населения здесь погибло. Они-то тем более считали, что их не станут бомбить. Они не покидали республику в первую войну, жили в Грозном в этих многоэтажках – тысячами, десятками тысяч. Если чеченцы, имея активные родственные связи, могли разъезжаться по селам в Чечне, уйти в более безопасные места, то у русских, проживающих здесь – а они здесь родились, здесь жили – у них не было таких распространенных связей, таких мест, где бы они могли спастись, поэтому они оставались в своих домах, и на их головы посыпались бомбы. Представляете, какой надлом? Вот

это первое ощущение, что все оказалось не так, как мы думали, и уже действительно надо было спасаться, надо было думать о том, чтобы куда-то вывозить близких. Так закрутилось...

Аза, 23 года

Лично для меня война началась, наверное, когда уже наше село начали бомбить. Когда это не у нас происходило, то казалось, что это где-то там, некоторое время еще будет происходить, и все пройдет. Но когда начали бомбить наше село, тогда я уже поняла, что пройдет не скоро и не завтра. И приходится не то чтобы смириться с этим, но хотя бы принять этот факт – есть война, она идет, она началась, и непонятно, когда закончится.

Первой реакцией был страх. Именно первая реакция, когда самолет летал, – это первый раз, когда я вообще видела самолет. И это был страх. Когда это началось, я пыталась поговорить с мамой, но, насколько я поняла, она не хотела говорить, наверное, хотела оградить нас, чтобы это прошло стороной, но уже было поздно. И потом говорить об этом уже не хотелось, даже не было такой потребности. Просто хотелось, чтобы эти взрывы и этот шум прекратились, и посидеть в тишине.

Я помню, мама сказала отцу: «Ты понимаешь, что все серьезно и, возможно, уже завтра очередная бомба упадет на наш дом?» Я случайно услышала разговор, это были самые сильные слова, я тогда поняла, что действительно возможно, что до завтра ты не доживешь. Она сказала: «Мне бы хотелось умереть рядом со своими родственниками, мы можем поехать к моим родственникам в селение?» А папа очень привязан был к селу, и он не любил вообще переезды, и он говорит, что не поедет. Мама говорит: «Хорошо я поеду, но я детей тоже заберу, не хочу их оставлять, чтобы за них не волноваться». И они так договорились, что папа найдет машину и нас отвезет туда. В 11 часов ночи папа разбудил маму и нас. Мы спали тогда в одежде, потому что нужно было быть готовым в любой момент уйти в подвал, и спали мы в одной комнате, потому что электричество, газ уже отключили к тому времени, и приходилось топить печь. Я поняла, что это переезд, потому что слышала их разговор. Мы выходим на улицу, а люди уже сидели. Это какой-то КАМАЗ был что ли, задник открытый. Я почему-то все-таки надеялась, что папа с нами поедет. Нас всех посадили, и я помню чувство, что папа остается, мы все уже готовы, мы сейчас уедем, и все что угодно может с папой завтра случиться, и с нами, и мы, возможно, не увидимся. И понимать это все...

В этот момент еще важно было не показать слезы маме – я видела, что она в слезах тоже.

Четыре месяца мы там прожили, потом вернулись. Мы воссоединились, но этот момент в войне, даже не потеря близкого, а именно тот момент, когда мы разъединяемся, и понимаешь, что мы можем больше не увидеть одного из самых близких людей – вот это для меня было страшно. Это уже был 95-й год.

Магомед, 27 лет

Встретили мы первую войну без отца, только с матерью. Я помню, как-то мы приехали к родителям, к бабушке и дедушке по материнской линии, и это была новогодняя ночь. Тогда на 1 января уже показывали взорванные танки, солдаты лежали. Даже помню, что трупов боевиков не показывали с чеченской стороны, показывали только солдат, это по местному телевидению. И говорили, мы такие сильные, что можем вот так, вот так их. Эта военная акция так запомнилась. Но я не думал и не знал, что это будет продолжаться. Я помню эти картины, эти трупы – но тогда не осознавал, что это, война или нет.

Лиля, 51 год

Для меня война началась в момент, когда... У одного соседа, он более состоятельный был, купил спутниковую антенну и записывал все передачи иностранных телекомпаний, журналисты которых приезжали, делали репортажи. И в какой-то момент мужчины все собрались, и соседи попросили меня сделать перевод с немецкого телевидения – я немецкий знаю. Попросили сделать перевод текста этих журналистов, а там были съемки разбитого Грозного. И вот, когда я первый раз по телевизору увидела, что они сделали с Грозным, для меня это было началом. Ты слышишь об этом, но не видишь, как-то не было полного представления всего ужаса этого разрушения. И в тот вечер я так и не смогла ничего перевести, только расплакалась, не могла успокоиться, это был кошмар – то, что в Грозном творилось. И это была первая моя травма за годы войны. Я долго с этим не могла справиться. Когда началась война, когда я все это увидела – вот тогда Грозный стал моей болью, средоточием моей боли...

Аминат, 67 лет

Бомбардировки. Первая война, это было под Новый год. Мы жили в Грозном. И шла информация, что войска подвигаются к городу Грозному, что идут интенсивные артиллерийские обстрелы. На окраинах уже шли бои. И наша семья: я со своей старой больной свекровью, сын и муж, мы уехали. Так сказать, беженцами стали мы. Закрыли просто дом и уехали в село, но накануне Нового года моему супругу вздумалось... Это было очень легкомысленно, мы недооценили всей серьезности ситуации. Мы думали, проживем несколько дней и вернемся домой, пока это пройдет. Он решил вернуться в город на нашу улицу, в наш дом. Знаете, зачем? Чтобы купить детям апельсины к Новому году. Решил устроить Новый год детям. В нашем доме лежало сушеное мясо. И чтобы всех накормить, он решил забрать это мясо оттуда. Приехал в Грозный, поднялся на нашу улицу и попал в жуткую обстановку. Он попытался открыть дверь, но, видимо, разволнованный этой ситуацией, так и не открыл, а развернулся и поехал обратно. И они попали под обстрел. Они остались живыми случайно. Впереди ехавшая машина, как только выскочила на перекресток, сразу попала под огонь. Она сразу взорвалась и загорелась. Тогда они свою машину притормозили, заехали к первому попавшемуся двору, заскочили туда, и стали искать подвал, куда спрятаться. Дом был пустой, открытый. Они рассказывали: «Уже становилось темно, и мы на ощупь нашли какое-то кольцо в полу, подняли его, и это оказалось подполье». Такой вот маленький подвал, где можно было находиться присевши. И они туда залезли. Эту ночь они провели там. И семь дней они не могли выйти из этого подвала. Потом они в доме нашли пакет, кулечек такой маленький, с кукурузной мукой. В подвале нашли банку соленых помидоров. И вот из этой кукурузной муки они сделали такие сухие лепешки, и ели их, запивая рассолом помидоров. Главное, с ним был 14-летний мальчик, мой сын. Дом, в котором они прятались в подвале, сверху весь практически разрушился за эти семь дней. Крыша, стены, все попадало на них, и каждое утро они оттуда выбирались с трудом. Когда затихал обстрел, они пытались выйти на свежий воздух, подышать, и снова прятались. Машина стояла во дворе дома, она была защищена несколькими стенами. Благодаря этому машина была целая. На седьмой день они увидели, что на эту улицу приехала какая-то другая машина, водитель этой машины был в состоянии шока. Они подошли к нему, стали спрашивать, как он приехал, есть ли отсюда выход. И он, глядя в пространство, даже в лицо им не посмотрел, сказал: «Вот если по

моему следу поедете, вы можете выйти в центр и выехать». Потом мы узнали, что на его глазах расстреляли брата и еще каких-то членов семьи. Мы встретились через семь дней. Я думала, все, мы больше никогда не встретимся. Человек уехал 31 декабря и вернулся 7 января.

Аслан, 24 года

Помню, когда началась война, когда люди прятались, начались первые бомбежки нашего села, потому что оно приграничное и его было очень легко бомбить. Там со стороны Ингушетии стояли пушки, даже издалека их было видно, и они бомбили.

Мы с братом были маленькие, брату было всего 4 года, мне 6 лет, и мы с ним в первый день бомбежки поднялись на крышу дома, легли на крышу и смотрели. Бомбежки обычно делали ночью, и нам было очень прикольно, когда мы смотрели, как летят снаряды выше нас, над нами пролетают, красиво. Света уже не было, было очень темно, и снаряды мимо нас летели. А внизу, оказывается, все нас искали, как сумасшедшие, потому что не знали, куда мы пошли.

Когда первый снаряд попал в наш дом, это был минометный снаряд, вот тогда я понял, что это не салюты, не фейерверки, а реально тут людям было опасно. Но у нас никто не пострадал, потому что мы были в подвале. Просто была разрушена часть крыши и пара комнат. Это было первое ощущение, когда я понял, что вот уже настоящая война, она наступила.

Сацита, 48 лет

Я до последнего слово «война» не рассматривала, даже когда в ноябре вошли танки, потому что для меня война – это была Великая Отечественная война, другой войны я не представляла. И когда на своем горбу я эту войну почувствовала, когда бомбили город, я поняла, что да, это уже настоящая война. Как назвать эту войну, и сейчас я, уже зрелый человек, не знаю, что ж это было. Была ли это война, были ли эти контртеррористические операции – я бы назвала это только одним словом – убийство. Никакая это не война, просто убийство народа. Война – это какие-то идеи, на войне воюет кто-то один с кем-то другим.

Для меня лично война началась... В первую военную кампанию, в 94-м году, меня не было дома. Я не знаю, почему, по какой воле судьбы меня вынесло из города. Война для меня началась тогда, когда я услышала, увиде-

ла по телевизору – бомбили город. Я уехала в Саратов к двоюродному брату буквально перед первой военной кампанией. Когда телевизор включили, там передавали, что сегодня введены войска на территорию Чеченской республики, Джохар Дудаев скрылся в неизвестном направлении. Тогда я обрадовалась: «Ну, вот и все, – говорю своему двоюродному брату, – ну, наконец-таки это все успокоится». Джохара, говорю, значит, отозвали опять в Москву. Нормально все будет. И когда через несколько дней показали, как бомбят город... У меня осталась здесь сестра родная, ее дети, мама осталась, родственники мои. И я это все видела только по телевизору. Только в марте 95-го года я вернулась домой. Когда вернулась домой, я увидела разбитый город, остановилась около библиотеки. Слоем в тридцать–сорок сантиметров лежал пепел, все было разбито, все сгорело, а на двери написано мелом: «Сацита, если ты живая, меня найди». Такая была фраза.

Потом я ехала домой, как зомбированная, я не плакала. Я подъехала к дому, таксист меня высадил, видимо, решил, что там что-то случилось. Я зашла домой и услышала стук молотка: «Тук-тук-тук». Дом весь разбитый, я по этим кирпичам пробираюсь. В самом конце двора мама стоит и ремонтирует курятник. У нее от взрыва, от взрывной волны, все куры умерли, их оглушило, куры умирают, перепонки у них там... И чудом уцелел у нее один петух, который вместе с ней был всю войну. Я захожу, мама заколачивает ограду, чтобы петуха загнать, петух стоит рядом и так на нее смотрит, не убегает. Я подошла, маме говорю: «Мам» – не плачу, хотя чувствую, я сейчас что-то услышу. «Мам, – глупо и тупо говорю, – мам, какая у вас зима была?». Я же в марте вернулась. Мама говорит: «Зима, – говорит, – была холодная. Ну, ничего», – «Мам, у вас вода была?» – «Да, вода была». – «А чего, остальные куры у тебя умерли?» – «Да, ты же знаешь, у них перепонки...»

ВОЙНА

Что с вами происходило во время войны?

Как вы жили?

Из дневника Сациты

Confiteor
...только перед тобой,
Всевышний,
только перед тобой,
моя совесть,
и перед тобой чистый
белый лист.

1/1 2000 г. Какая непривычная комбинация цифр. Сейчас около 12 ч. дня. Тишина – единственное, что запоминается и что радует.

2/1 – Мы почти не спали в своем убежище надежды. Ночью, около 10 часов, раздалась взрывы, били по нашему дому. Наш подвал затрясло, погасла лампа; стало темно, страшно и тихо. Тишину прервал скулящий вой Шарика, собаку, кажется, ранило.

Утром мы пошли с мамой домой, посмотреть, что с домом. Наш переулок наполнил жалкое зрелище: скрюченные и подбитые деревья, груды разбросанной земли и кирпича, весь переулок перекопан минометной очередью. Какое счастье, что на улице в это время никого не было.

Парад войны набирает новые формы и обороты. Мы терпеливы. Мы медленно ждем конца парада.

3/1. Что-то страшное с утра. Что-то случилось с солнцем, небом, кругом пулеметный огонь.

5/1. Заканчивается пятый день нового года. 14 человек сидят в мрачном подвале с одной светлой мечтой – выйти на свет. А на высоте – 5 т(ысяч) м(етров) – черный крест смерти. Варварская война все продолжается. Наши прогнозы, что 5.1 война закончится, не оправдались. Война, помимо того, что приносит сильные разрушения и много невинных жертв, война убивает в человеке все лучшие его черты. Как изощряется человечество в своем желании побольше убить. Слуги дьявола находят все новые и новые способы народоубийства.

6/1. Удивит(ельная) тишина. К чему бы это? Я даже не спускалась в течение дня в подвал, целый день была дома. Какое это было счастье: дышать свежим воздухом, без страха ходить по улице, припорошенной чистым снегом. Теперь мы будем ждать 9 – 10.1 (говорят, закончится война). Ск(олько) раз мы утешали себя, что вот-вот – и войне конец: один, два, пять, 10, 30, 40, 50...

13/1. Старый Нов(ый) год.

В молодости мы, девчонки, любили этот праздник. Мы ставили зеркала, свечи и начинали гадать. В полночь в зеркале должен был появиться суженый – жених. Но он не появлялся. Ни в зеркале, ни в жизни. Но это были детские забавы. Сейчас мы «гадаем» не в детские игры. Мы гадаем на «кофейной гуще», когда закончится война. Наши прогнозы не оправдываются. Сейчас мы не ставим сроки, когда закончится этот подвальный роман.

Все действующ(ие) лица этого романа (11 жен(щин) и 4 муж(чин) взвинчены и напряжены до предела. Раздражаемся безо всякого на то повода. Через секунду миримся. Надоела нам всем эта подвальная жизнь. А конца войне не видно. Изю дня в день одно и то же. С утра «черные кресты», как голодные шакалы, кружат над городом. 100, 110, 120, 150 – ск(олько) можно. Он же умрет. Он уже умер. Одни и те же проблемы: вода, дрова. Загнали нас в угол, и мы, как испуганные кошки, царапаем только стену.

14/1. Умер Шарик. Перед смертью у него были такие жалостливые и молящие глаза. Но мы не могли ему ничем помочь. У собаки, кажется, был перелом позвоночника. Сейчас он лежит в углу с вытянутыми лапками.

15/1. Второй день начался с сильного артобстрела, в небе «кресты». После 5-днев(ного) затишья все началось по-новому кругу. Федер(алы) готов(ятся) к очеред(ному) штурму Грозного. Бедный, любимый и родной Грозный! Что делают с тобой варвары. Окружили тебя тесным кольцом, разбили сверху на квадраты и бьют по незаживающим ранам. Твои некогда цветущие и красивые улицы похожи на картины художников-сюрреалистов. Человек не может творить такого. Это можно только придумать. Или это может присниться в кошмарном сне. С высоты нашей горы нам видно, как черные кресты, совершив «круг дьявола», направляются в сторону Минутки, взрыв на неск(олько) секунд сотрясает землю, а потом появляется черный клубок дыма.

Всю ночь мы слышали гул самолетов, всю ночь бомбили. А до выборова еще далеко. Еще не один клуб дыма будет витать в воздухе.

А страх не покидает тебя ни на одну секунду.

17/1. Кажется, 17/1. Я не помню ни числа, ни дня недели. Все дни сливаются в один день. Я привыкаю к этой подвал(ьной) жизни. Человек медленно привыкает ко всему. Человек привыкает и к нечеловеческим условиям жизни. Разве месяц тому назад я могла себе представить, что буду месяц жить в нечеловеч(еских) условиях, спать на жесткой сырой постели, сколоченной из выброшенных досок. И, медленно привыкнув к этой жизни, я перестану сопротивляться. Это привыкание ко всему – самое страшное. В голову всегда лезет один и тот же сюжет – «Женищина в пес(ках)». Привыкнув к жизни в песках, глав(ный) герой под конец уже сам не захотел оставить свое убежище в песках, куда его насильно затолкали. Он привык ежедневно разгребать песок, рубить дрова; привык мыться раз в м(есяц), постепенно теряя человеческие привычки и человек(еские) мысли. В конце концов, он сам становится таким же, как и жениц(ина), с которой он прожил многие месяцы.

Мне это все напоминает мою подвальную жизнь. Но я буду сопротивляться, я никогда не привыкну к этой жизни. Мы выберемся. Я должна выбраться...

19/І. Третьи сутки штурмуют Грозный. Нам хорошо видно и слышно, как в районе Минутки идут бои. Третьи сутки артобстрел не прекращается ни на мин(уту). Но я с мамой все равно выбегаю из подвала, кормлю скотину и кур. За полчаса мы успеваем сделать все свои дела. Дольше оставаться наверху нельзя, минометы разрываются совсем близко.

Вечером мы слушали «Свободу»: федералы дошли до Минутки.

21/І. Ужас и страх – два чувства, кот(орые) преследуют меня целые сутки. Сна практически нет. Я не засыпаю, а просто проваливаюсь в бездну темноты. Просыпаюсь – кругом бездна, кругом тьма. Так хочется света. А война продолжается. С горы «отборные войска Рос(сии)» хладнокровно расстреливают наши дома. Ск(олько) же это может продолжаться? Скоро четыре месяца как началась война, четыре месяца ожиданий и надежд. Я ровным счетом ничего не знаю об этой войне. Только бомбежки и бегство из подвала домой и обратно. Страх, смерть, слезы. Я стала забывать, как выглядит город ночью, забыла гул автобуса, светящиеся фонари вдоль улицы, я забыла, как выглядят витрины магазинов. Мне кажется, у меня не было другой жизни. А была бесконечная война; были разбитые крыши, перекопанные улицы, бомбежки, миномет(ный) обстрел, постоянное чувство голода и страх за свою жизнь и за дом. Все сливается в темном подвале и превращается в одно пятно.

29/ІV. Бьют, бьют, бьют... Горят дома, совсем рядом разрываются мины. В небе кресты. Всюду мрак. Я устала бояться, устала бегать.

Хочу света, хочу свежего потока воздуха. Кругом пылают пожары, горят улицы, горят...

Сацита, 48 лет

То, что было в 99-м году, это вообще не понятно, откуда эти люди взялись. В эту войну я уже никуда не уезжала, ни на один день. Когда мы покидали город, уезжали через Гикало, когда вертолеты обстреляли впереди колонну, были убитые. Это ж тоже, наверное, система? Ну, видят, что мирные беженцы уезжают, видно же с вертолета. Объясните, зачем? Когда-нибудь, может быть, военный у меня интервью возьмет? Я ему задам эти вопросы. Я скажу: «Уважаемый генерал, ответьте мне на один вопрос: если мирная колонна едет, и вы видите, что там женщины и дети, зачем вы ее обстреливаете, зачем взрываете? Зачем?» Понятно, там эти боевики, но мы-то люди, бабы с детьми... То есть я тоже попала под обстрел в августовских событиях. Вернулись, когда были эти знаменитые переговоры хасавюртовские. Ну и потом опять начался полный развал, оружие, стреляли.

После августовских событий, ровно через месяц, я вернулась домой и больше уже никуда не уезжала. Третью военную кампанию 99-го года я виде-

ла изнутри уже сама, я была здесь. Я видела, когда боевики по улицам ходили, когда доблестная советская красная армия расстреливала мирных людей, это я видела... Я, знаете, как мамаша Кураж, на своей телеге сидела: лишь бы прокормить себя и тех людей, которые вместе со мной сидели в подвале. Нас было там человек 14–16. А мне нужно было этим людям воду таскать, дрова приносить, надо было бегать, я была самая молодая.

Когда боевики уходили, сказали нам: «Пойдемте, выходите с нами, вас расстреляют». Я сказала: «Пусть расстреляют, но расстреляют в моем доме, никуда я не уйду». С третьего на четвертое боевики ушли. Четвертого была такая тишина... Я несколько раз говорила, что восьмое чудо света – это тишина. Я вам тоже советую, послушайте ее. Это бывает, когда долго ее у тебя нету, а иногда так бомбили, бомбили и бомбили, я руки поднимала к небу и Всевышнему говорила: «Всевышний, ну дай мне просто 15 минут постоять в тишине. Это так здорово – смотреть на этот мир, который Ты сотворил!». Такая тишина была, знаете, как будто ненормальная тишина... Я взяла мел, стала бегать по дворам и писать: «Здесь живут люди, здесь живут мирные люди, здесь живут люди»... Четвертого числа, где-то, наверное, после обеда, опять начали с миномета. Самый плохой вид оружия – это миномет. Он тебя где угодно достанет. Страшный минометный обстрел начался, страшный.

И тогда зачистки начались, стали ходить по улицам. Нам повезло, спасибо тому красноярскому ОМОНу, который стоял у нас на участке. Нам говорили, знаете, если завтра у вас будут зачистки, это не мы вас зачищаем. Систематически заезжали и зачищали с других комендатур.

Соседа убили. К ним пришли во двор зачистку делать (я не знаю, какой это ОМОН был), а в руках у него были четки, он, видимо, молился. Они его вывели оттуда, около стены поставили, расстреляли, кирпичами закидали, на самый верх кирпичей сели, и водкой – за царство его небесное, еще и водкой поливали. А он под кирпичами лежал, убитый. Но такого вот, массового убийства у нас не было. И, повторяю, нашему участку повезло, у нас красноярский ОМОН был.

Так мы выжили в подвале, и 3-го вылезли из подвала. Я вышла на работу числа 22-го февраля. Вышла в город, на первом же блокпосту, не на первом, на Минутке (ой, дура была, какая дура была) разругалась с одним солдатом из ОМОНа. Откуда я знала, что они там звери, я в подвале же сидела. А я молодая такая была, худенькая. «Руки, говорит, покажи свои». Я показала руки. «А чего они у тебя в ссадинах?» – «Дрова колю». – «Плечо, – говорит, – покажи». (Носила оружие – не носила). «А где мужики?» – а я говорю: «А мужики в горах воюют». Дура была, сейчас бы не сказала.

На другом блокпосту солдат к нам подходит с зачисткой. Я говорю ему: «А где дома? Что вы тут наделали?». Он говорит: «Мы вас пришли спасать». Я говорю: «Дома зачем разнесли?» Там на Минутке вообще ни одного дома не было, на площади Минутка. В первый день вышла в город, а там, естественно, добились все, что, может быть, не добились в первую войну.

Вышла на работу, вернулась в эту свою сгоревшую библиотеку, стала крышу делать. Не знаю, наверное, так мне надо было – это все делать. Тяжело было, но война закалила.

Я провела 56 дней в подвале. Я дневник вела в подвале. Когда сейчас дали мне почитать Полины Жеребцовой дневник, мне смешно стало, я же такой же дневник вела. Помню, как мой сосед мне говорил, что, дескать, тебя убьют, меня убьют, напиши про меня красиво, чтобы я был такой хороший, героический.

56 дней мы сидели. Бомбили, стреляли, это все было. А потом, наверное, с третьего на четвертое, когда все боевики стали выходить, и в районе Алхан-Калы они попали на минные поля, в этот же день два пацана с нашего участка убиты были. Они не воевали, они просто остались, не уходили, не захотели покидать своих родственников, родителей. Многие боялись оставаться в городе, потому что будут зачистки, и вот они вместе с боевиками уходили, потому что те сказали, что им гарантированно выход дадут. Там, наверное, вообще было 50 процентов просто мирных детей, которые, боясь, что их здесь убьют, просто выходили из города. Два моих соседа так выходили, и там их убили. Одного труп так и не нашли, говорят люди его в общей яме закопали, а одного труп нашли. Они не воевали.

Но это, это не была война... Пусть придумают новое слово в литературе, которое вот это все обозначит. Когда к нам зашли вот эти, при зачистке, зашли омонцовцы, я сразу вышла (я ж не знала, что это какой-то ужас). А мы как научились – частный сектор, чтоб быстро пробегать, мы как-то научились: заборы убрали или дырки в заборах делали, по вьетнамской системе, и везде бегали. Я по этой системе выскочила, очень коротким путем пришла домой к себе, кур хотела покормить. И тут я выхожу, а они со всех щелей повылазили – идут, идут, идут – и на меня напоролась. Как они меня не расстреляли, я не знаю, наверное, просто повезло. У них самый старший был, он говорит: «Девушка, вы кто?» Я начинаю: «Ребят, здесь боевиков нету, боевики, ушли. Вчера ночью ушли. Я вас прошу, тут никого, давайте, я вместе с вами пройду, покажу вам дома, скажу, кто, где живет». Начинаем переговоры. Один мне говорит: «А вы кто такая? А здесь «чичики» есть?» Я: «А кто такие,

чичики?» Он говорит: «Ну, чеченцы, есть?» Я говорю: «Есть. Я – чеченка». «Как чеченка? А че ты так хорошо на русском говоришь?» – «Вы чего, – говорю, – получили инструктаж, что мы здесь с набедренными повязками бегаем? Вообще, говорю, я директор библиотеки». Один: «А че, у вас еще библиотеки есть?» И потом, видимо, самый старший из них вышел, я ему объяснила, говорю: «Вы к нам подойдите, к нашему подвалу, мы все выйдем», и он тоже говорит: «Хорошо, девушка, давайте». Мы подошли к нашему подвалу, все повыходили. Они к нам в подвал спускаться побоялись, тоже несмелые были. Мы вышли, показались, одни бабки, калеки стоят. Ну и они уехали.

Я хотела бы найти того врача, который мне жизнь спас, потому что, если бы не он, я бы просто умерла. У меня в протоке застрял камень, и все, я уже умирала, у меня наступил болевой шок. Мама моя в 12 часов ночи идет к этим, к блокпосту. Издалека кричит: «Ребята, не стреляйте, ребята, не стреляйте!» А у них такая огромная собака еще. Они кричат: «Мы на вас сейчас собаку натравим». Мама говорит: «Не стреляйте. Дочка, умирает, дочка». И вышел военный, солдат говорит: «Я пойду». И он ночью вот по этим заборам, представляете, пришел. А я его не помню, я уже в болевом шоке лежала, умирала. Вот зашел, он сам из Красноярска, по-моему, Виктором себя назвал. И он приходил, неделю ходил ко мне, приносил книги читать, когда узнал, что я библиотечка. Принес мне детективы Чейза почитать. Я честно говорю, я чувствую огромную благодарность, но, с другой стороны, увидь я его сейчас, не узнаю, потому что я была в таком состоянии, что я не помню его. Наверное, нам просто повезло.

Шутка, конечно, не шутка – перед нашим домом, где мы в подвале жили, упал снаряд, и такая большая образовалась воронка, огромная-огромная воронка была. И я на второй день, когда уже стало спокойнее, начала искать лист по ширине этой воронки, положить. Дядька мне говорит: «Ты что делаешь? Ты чего лист притащила?» А я дядьке: «А когда нас кого-то убьют, чтобы мы не бегали, не копали, вот туда, – говорю, – положим, землей присыплем, прикроем, а потом перезахороним». Я это говорила, как о самых обычных вещах. Дядька шутил и говорил: «Тебе и мне воронка подойдет, мы с тобой маленького телосложения».

Человек привыкает ко всему, спать на нарах, не купаться, не мыться. Сейчас дико не искупаться один день, да? Дико, правда? Привыкаешь. Не сразу, но привыкаешь. Привыкаешь плакать беззвучно. Ты лежишь в темноте, у тебя просто слезы текут, и ты знаешь – рядом лежит мама, и мама уже знает, что я плачу, и начинает с тобой разговаривать.

Тяжело, когда у тебя на глазах убивают. Вот у меня убило прямо на глазах соседа нашего. Такой замечательный был мальчик. Это еще когда был ноябрь, когда еще людей много было, потому что люди только начинали уезжать. Начинается обстрел, мы все бежим в подвал. Я выскочила последняя, а там сосед был, смотрю, он выбегает. И я говорю, «пойдем в подвал, он ближе». Я помню, как он смотрит вверх, а там, наверху, около школы, жили его брат и мать. Он говорит, «нет, я, наверное, к матери пойду». И от меня отошел на какое-то количество метров, раздался взрыв, я поворачиваюсь... В него попало, именно в него. Я помню, когда его убило, у него полголовы снесло, вот так. Я вместо того, чтобы бежать вниз, бегу к нему. И все, я уже ничего не слышу, уши заложило. Я смотрю на него, у него нет лица, пол-лица нету. Я на него смотрю и не помню... Потом прибежал родственник, схватил меня и поволок в подвал. Побеги он вместе со мной, остался бы живым. Таких моментов много было, я видела и убитых, и мертвых... Ну вот, а мне, видно, не судьба была.

У меня образ врага – это самолеты. Когда они бомбят, это просто ужас. Я и сейчас не могу слышать, когда гудит самолет. Я редко-редко сажусь в самолет по одной простой причине – я не могу этот гул слышать. Это враг, самолет. Такой черный... Я его называю «черный крест». Вот он летит и смерть несет. У меня такой образ врага, наверное, больше вырисовывается, чем человек в военной форме...

Минат, 26 лет

Это был 95-й год. Как обычно, самолеты, мама в панике кричала, и все соседи к нам прибежали, так как у нас большой подвал был, и все у нас прятались. Тогда на наш огород попала глубинная бомба, я помню, что я ударилась из-за волны. Как раз бомба взорвалась, нас придавило к полу, потом все поднялось – амортизация какая-то, я не знаю. Сначала нас придавило, потом мы смогли как-то встать, все нормализовалось, и все в пыли были и в панике. И тогда никаких признаков, ничего не было, все потом началось. У меня начались боли. Я была очень активным ребенком и постоянно играла, постоянно на улице, и все говорили: «Вот, ты долго-долго бегаешь, много бегаешь, много играешь, поэтому у тебя боли». Каждую ночь болело, я плакала. Мама заставляла меня дома сидеть, чтобы я вообще не выходила, но тогда еще сильнее начиналось. Мы с ней ходили по всем врачам, они говорили, что это испуг, но никто не знал, что именно со мной. Меня лечили в разных больни-

цах, мы по всей республике ездили – и к знахарям, и к травникам, но диагноз поставить так и не смогли.

Мои родители родились и выросли в этом селе, они дом, все построили своим трудом и не хотели покидать, никуда беженцами выезжать не хотели. И все эти две войны мы жили там. Разрушали дом – мы опять строили, мама все приводила в порядок, то одну комнату, то вторую; потом опять разрушали, и опять она старалась как-то все возвести. А я тогда еще, помню – там же свет отключали – и к нам обычно все соседи собирались, так как отец с аккумулятором что-то делал и подключал телевизор, и все смотрели новости. А мне каждые два–три часа надо было пить лекарство, у меня приступы бывали, я кричала, плакала, и все соседи еле-еле досматривали новости и уходили, не могли уже выдержать. У нас только одна комната после разрушений была, и сестренки – одна в одном углу, другая – в другом, сидели и плакали. Ну, это был ад. Меня не могли с постели двигать, вообще, сразу приступы у меня начинались, трогать мама не могла.

Я лежала в 99–2000 годах, как прикованная. В 2000-м, в феврале, мы, как обычно, тихо дома были. У нас рядом на поле были солдаты, у них там часть была, и каждую ночь кидали снаряды маленькие, некоторые бегали в подвал по ночам, а меня вообще не трогали. Так, все было спокойно, на мелкие эти снаряды никак не реагировали. А к вечеру началось – ужас, снаряды, была суматоха, мама с соседом прибежали, она затопила печку в подвале. Я понимала, что готовится что-то страшное, потому что она в подвале нам условия какие-то создавала, все это делала. Это, кажется, было тогда, когда из Грозного выходили наши чеченские парни, они сдавали Грозный и по всяким селам бежали. И тогда мама меня отвела в подвал, я кричала, молила меня не трогать, опять все началось, плакала, а она говорила: «Главное, чтоб ты не умерла, а все остальное, оно все приложится. Ты плачь, сколько хочешь, но надо в подвал». Отвели в подвал. Соседи к нам тоже пришли – и пыль, и взрывы – боялись, что вот-вот к нам гранату бросят (там маленькое окошко было в подвале), так, как тогда это происходило. И все боялись, мама просила тихо сидеть, но дети плакали. Я тогда знала несколько аятов наших и успокаивала детей. Они вокруг меня, я читала, и они за мной. Одна бабушка кричала: «Вынесите меня отсюда, я задыхаюсь». От этого дети еще сильнее начинали кричать. И мама на нее – просто у нас не принято на старших голос повышать, тем более она была родственницей моего отца – а мама тогда вообще обо всем забыла, для нее главное было, чтоб панику не устраивать в подвале, и мама ей: «Успокойся, тут дети, ты же взрослая, ты должна понимать, успо-

койся хотя бы ты». Я думала всю ночь: «Лишь бы рассвет, лишь бы свет в окно!» Не знаю, казалось, что с рассветом все закончится. И до рассвета мы молились и глотали эту пыль, друг друга вообще не видели.

Были сквозные снаряды, сверху наш дом был полностью разрушен. Мы на холме, а все остальные дома – они ниже. И все попадало на наш дом, так как он выше. И в ту ночь – я не знаю как, но основная часть села вообще ничего не слышала. Спокойно спали люди. И даже те соседи, которые живут просто через двести метров, они тихо спали. Они в глубине где-то, поэтому до них не доходило. Они тихо спали и не знали, что такое у нас происходит. Сначала танки, и всю ночь – снаряды, снаряды, снаряды...

С рассветом я услышала шум вертолета. Сначала думала, – наверное, наивно, ну, ребенок, – что сейчас все закончится, у меня такая наивная мысль была: «Сейчас с помощью этого вертолета все завершится». Но это было самое ужасное. Шум вертолетов, мама вышла, моя средняя сестренка вышла: «Мама, наш дом!» Мама говорит: «Какой дом! Пусть все рушится, главное, чтобы мы были живы». Она кричит и плачет. Потом соседка прибегает: «Это что с вами случилось-то?» – и начинает смеяться. Мама говорит: «Ты что, дура? Ты не понимаешь, что мы вчера пережили?» И потом вертолеты начали. И тогда у нас уже невозможно было оставаться. Я не знаю, как они называются: то ли какие-то ковровые ракеты, то ли бомбы были, которые они бросают, но они сметают все. Все выбежали из подвалов, вниз по реке хотели пойти, выйти из села, но уже невозможно было – вокруг стреляли. И мы сначала побежали к соседям, мама меня держала на спине и бежала со мной. За нами две сестренки, брат и соседи, мы сначала к ним забежали. Потом опять все выбежали. И я помню, что мама не могла уже, мне было 14, хотя я была худая от болезни, но все равно, ей тяжело было, и она бежала с нами, и тут вертолет, он чуть ниже спустился, и мама тогда нас бросила под дерево, у нее одеяло было, набросила, и сама легла на нас. Я помню, что было видно этих солдат, которые там сидели. Когда я это вспоминаю, мне бывает обидно. Женщина и дети, ну, видно же сверху, если я их видела, то они точно нас видели. И они вокруг нас стали стрелять, чтобы испугать. Думала, вот-вот в меня попадет. И так они нас чуть-чуть попугали и отлетели. Мама встала, и опять мы побежали. А через речку жили наши дальние родственники, они позвали нас: «Быстро-быстро к нам в подвал, там еще наши сидят» – и мы побежали. Тогда все испугались, и мы пошли к дяде моей мамы, у них тоже был огромный подвал.

Когда мы бежали по этому снегу, были видны пятна крови, это те парни, боевики, которые выходили из Грозного, оказывается, проходили через наше село ночью. Поэтому нашу верхнюю часть так бомбили в ту ночь. И наутро самолеты и вертолеты, они все как бы доделали. И тогда были видны куски хлеба, сахар, их одежда, они по дороге все бросали и бежали. Мы пару дней побыли в подвале, и я помню, у нас где-то в середине села убили троих братьев – их вытаскивали из подвалов, молодых ребят, выводили на поле и расстреливали. Из одного дома – единственный сын он был – его убили. Еще где-то 16–18 парней вывели, и из них, кажется, остался один. Просто он не скончался после ранений, еле жив остался. Они почти всех парней, всех мужчин, вывели на поле в конце села и всех проверяли, а тех, которых они в тот момент в самом разгаре вытащили из подвалов, их они расстреливали. Потом мы опять, когда все затихло, обратно в свой дом – мама одну комнату привела в порядок – и начали жить у себя.

Я помню, что к нам солдаты приходили тайком от своих главных командиров и продавали солярку – молодые, не те, которые тогда были в горячее время. Весной они там охраняли все это – в каждом селе по военной части посередине. Ближе к лесу у них части бывают. И эти срочники, кажется, 18–19-летние ребята, они приходили и обменивали солярку на что-то. Ну, тушенка им надоела, и они меняли на хлеб, на лепешки, и постоянно к нам приходили, и я понимала, что этим людям – им это все не надо. Молодые, их туда привезли, и я знаю, что они ужасно боялись, и в то же время им пришлось там. Они часто к нам во двор приходили, но боялись, что их наши сдадут и расскажут. Говорят, что над теми, которые пытались сбежать, над ними эти командиры издевались, ну, старшие над этими молодыми, они мучили их.

И зачистки были у нас, к нам с оружием каждый день врываются, все обыскивали, все вверх дном, весь дом, и уходили. И однажды в такой день я лежала у окна, чтоб у меня хотя бы была возможность смотреть на улицу, и когда они ворвались, мама попросила, чтобы они опустили оружие, потому что там ребенок больной, она испугается. И я помню, что этот майор приказал, чтобы они опустили оружие, и так они вошли. Хотя это были солдаты, сейчас я понимаю, им угрожала опасность. Все равно, он поверил и приказал опустить оружие, тихо зайти и не шуметь. Зашли, обыскали дом, этот майор сел со мной, что-то мне сказал, я не помню, что он мне говорил, положил рядом 150 рублей, рассказывал про какую-то больницу в Москве, советовал туда меня отвезти, и так ушли. Тогда у меня отношение поменялось, что все-

таки их тоже что-то заставило туда пойти, ну, это их служба, им приказали, они тоже не от сладкой жизни.

Я раньше думала, и когда была маленькая, и когда война шла: «Почему это люди нам не помогают? Почему они не видят того, что творится? Почему все не выходит, что-то не делают?» Это, наверное, потому, что не было сплоченности и сострадания. Ну, это далеко, у каких-то людей, сейчас все пройдет – наверное, так думали. Это не только о России, вообще, я думала, почему весь мир не откликается и нас не спасает?

Рамзан, 57 лет

Естественно, порядок жизни был полностью нарушен. То, как мы жили, пытались что-то там достраивать, пристраивать с взрослением детей, работа, увлечения – все это нарушилось, все перестало существовать. Жизнь, она как бы остановилась. У людей был свой образ жизни, свои профессии, увлечения, этот период эту жизнь отнял. Из моей жизни этот период выброшен.

Мы только однажды выезжали в Дагестан на пару месяцев, чтобы избежать первого соприкосновения с военными, не зная, как они себя поведут. Будут ходить по домам, будут унижать, оскорблять. Чтобы избежать этого момента, мы уезжали на два месяца в дагестанское село, заранее подготовили это место, чтобы не было каких-то проблем, и больше мы дом не покидали.

На фактор гуманитарной помощи я никогда не уповал, но все-таки у нас было много семей абсолютно беспомощных, где не было взрослого работоспособного мужчины. Старики, какие-то категории людей, которые не могли себя обеспечить. И вот по отношению к ним, я думаю, гуманитарная помощь многое сделала, и я могу быть только благодарным тем международным организациям, которые в этот тяжелейший период спасли от голода тысячи и тысячи людей. Но сам я с этим не соприкасался, мне даже было бы неудобно принимать гуманитарную помощь, поскольку я был в состоянии сам прокормить свою семью.

Каждый человек по-своему психолог. Он наблюдает, сопоставляет, сравнивает, делает какие-то выводы. Когда мы покинули наш дом, наш город и находились в другой республике, там каждого мало-мальски знакомого человека обнимаешь – это такие приятные, положительные эмоции. Когда жизнь сдвинута с обычной колеи, люди становятся ближе, роднее. Но когда они возвратились, и жизнь стала налаживаться, все вернулось, как говорит-ся, на круги своя. Люди стали обычными. Я так понял, что эти две войны прак-

тически не сблизили людей, не сделали их мягче, чище, честнее. Наоборот, обозначился пласт людей, достаточно равнодушных, циничных, которые заполучили какие-то материальные блага и стали резкими, жесткими в отношении других людей. С этим сталкиваешься постоянно, в быту, на дорогах. Новые чеченцы, новые русские – фактор нашего времени.

Моей семьи война в этом плане не коснулась – не убило никого. Но радости по этому поводу, естественно, нет, потому что я всегда чужую боль воспринимал как свою. Самое тяжелое никогда не забуду – это когда находишься с близкими людьми в подвале, скажем, какое-то время, и вот, когда раздаются взрывы, ты видишь прямо перед собой детей, мать, и ты понимаешь, что ты ничего не можешь изменить. Эта беспомощность взрослого здорового, здравомыслящего человека, когда ты против этого абсурда ничего не можешь сделать. Это самое тяжелое.

Лиля, 51 год

Периодически у нас какие-то войны локальные возникали. Это было в 95-м году, например. Когда сыну моему младшему было 8 месяцев, а старшей дочери 12, и старшему сыну 7 лет. Выборы главы республики устроили, боевики вошли в наш город, чтобы сорвать эти выборы, и где-то неделю бомбили со всех сторон, а мы между нескольких огней оказались. Мы большую часть времени жили в подвале. Подвал нежилой был, просто погреб, чтобы хранить все эти соленья, зимние заготовки. Мы там специально доски положили, чтобы детей можно было уложить, а сами сидели. Тогда ни памперсов не было, ничего. Зима, декабрь 95-го года, подвал не отапливаемый, в нем прорвало какие-то трубы из-за обстрела, не было ни газа, ни воды, ни света. С керосинкой, со свечкой мы туда заходили, ну, забегали, когда очень уж сильный обстрел начинался. Сыну восемь месяцев, у него как раз был период, когда он начал ползать, ему все время хотелось ползать, он кричал, чтобы его отпустили, а на пол, по камням ползать не пустишь, по холодной земле. И вот, когда было затишье, мы выбегали из подвала, пробегали через двор и заходили в дом, чтобы хоть немного он мог в зале поползать, успокоиться. А в подвал забегали, потому что свекровь очень сильно боялась, у нее просто животный страх был перед этими обстрелами. У меня этого, к счастью, не было, видимо, я себя морально подготовила.

Когда началась война, я поняла, что это надолго, что если я сама себя не настрою и не сумею с собой справиться, то это отразится на психике моих детей, мужа. Я даже нашим домашним – недалеко от мужнина дома мои

родители живут – пошла туда, собрала всех женщин, там много семей, и сказала: «Вот эта война – не на день, не на два, не на месяц, это годами может длиться, поэтому будьте готовы к этому, постарайтесь успокоиться, справиться с собой, поддержать своих мужей, детей, на вас смотрит вся семья». Они меня там заклевали: «Ты что, с ума сошла, как это – годами может длиться, вот сейчас все поймут, сейчас Ельцин поймет, что неправильно здесь все делается, международная общественность поддержит, это не может так продолжаться». Но я понимала, что это надолго.

Домашние мои все уехали – женщины, остались только мужчины. Мужчинам у нас стыдно считалось уезжать – они мужчины, не должны бояться. И вот эта гордость мужская – она очень многих к смерти привела. Ну, женщины у нас как, они где-то на похоронах могут выплакаться, а мужчинам на похоронах нельзя плакать, женщины могут показать свой страх, куда-то убежать, а мужчины должны держать лицо. И эта необходимость все время все в себе держать очень сильно сказывалась. Я помню, особенно в годы войны, молодые мужчины умирали один за другим, и мы просто не успевали на похороны ходить. Очень большая смертность была среди молодых мужчин, это были инсульты, инфаркты, на нервной почве все это было, из-за страха! В одном квартале мы жили, дом мужа и дом моих родителей, я туда ходила, там две коровы, хотя раньше до этого я коров никогда не доила, но молоко – это все-таки продукт, потом я пекла хлеб на нашей улице и нашим мужчинам оставшимся раздавала. В этот период из женщин на два квартала остались только я и одна соседка – она одинокая была. Все уехали, женщины с детьми уехали, а я осталась, потому что не хотела мужа оставлять одного, а он бы не уехал. Мне вообще было все равно, думала, зачем мне жить, если он умрет. И потом, я знала, что он неприспособленный, готовить не умеет, стирать не умеет, как он сам будет ухаживать за собой. И дети не хотели никуда уезжать, потому что у них привычный круг – игрушки какие-то, свой мирок. Время от времени начинались слухи, что в город войдут боевики, надо уезжать, дети начинали плакать, просили меня, чтобы мы никуда не уезжали. Дети дома хотели оставаться. И когда что-то начиналось, они сразу бегут ко мне, видят, что я внешне спокойна, хотя внутри, конечно, было волнение, но больше было чувство ответственности, а не страха. Они подходят ко мне, например, я замешиваю тесто, стоят и смотрят внимательно. Обстрел начинается, все бегут, паника, свекровь кричит, бегают, они смотрят на меня, видят, что я спокойна, и я им говорю: «Да он пролетит, он не сюда, он в другое место летит, самолет, он нас не обстреляет, нас не будут обстреливать».

Я им внушала, что нас обстреливать не будут, и они успокаивались и продолжали заниматься своими делами.

В 95-м, когда начали нас обстреливать, боевиков в самом городе не видно было. И как раз первый снег выпал, мы проснулись и увидели, что снег лежит, и на этом снегу все эти осколки были видны, просто весь двор был усыпан этими осколками. Мы тогда поняли, насколько мы рисковали, бегая туда-сюда, и в доме у нас осколки были, мы были на шаг от смерти. Позвонила родственница, сказала, что на окраине города боевики, что сейчас начнется война, надо уходить. Я сразу же встала, было четыре часа утра, начала печь хлеб, лепешки. Свекровь кричит: «Зачем хлеб! Ты что, война началась!» – а я говорю: «Ну что они, с хлебом-солью к нам пришли? Прежде всего, хлеб будет нужен детям». Ну, испекла этот хлеб, и он нас несколько дней спасал, потому что на следующий день уже газа не было, света тоже не было. И мы через три дня – в подвале очень холодно было, невозможно было высушить пеленки, сыро, холодно – мы тогда решили уйти. Это решение нас спасло. Это была зима, 25 градусов мороза, очень холодно, мы взяли с собой детей – 12, 7 лет и 8 месяцев, взяли хлеб, который у нас остался, какие-то ползунки, пеленки – и пошли. Вот в этот момент я в первый раз почувствовала страх, а до этого у меня, честно говоря, не было страха, хотя и обстреливали, много чего было, но такого страха... Это был момент, когда муж сказал: «Я еще узнаю у одного соседа, он идет ли, выходит ли с нами», – и побежал через улицу, а эти с сопки увидели и начали обстреливать. Он бежит, и вслед за ним снаряды рвутся, и я подумала: «Если с ним что случится, я даже забрать его оттуда не смогу, не притащу одна, и что я буду делать с маленькими детьми и старухой, куда я денусь». Такой страх у меня был за него.

Он вернулся, и мы с соседями, у которых шестеро или семеро детей было маленьких, побежали по этой улице. К нам еще женщины с других улиц присоединились, и они потом рассказывали, что эти три дня они вообще без воды и без еды сидели с детьми голодными, потому что не могли высунуться из подвала. Мы хоть что-то ели, я сразу какие-то продукты приготовила. И мы шли, шли долго, в подвалы по пути заскакивали. В какой-то момент нам нужно было пройти обстреливаемый участок открытой улицы. У меня ребенок маленький на руках, а у нас же мужчины не могут детей на руки взять, и мимо проезжала машина. Свекровь ее остановила, попросила, чтобы меня с ребенком посадили, чтобы быстрее они все побежали, я просто бежать с ним не могла. И санки она прицепила к машине. По ходу они отцепились, кто-то их взял, пока мы эти два квартала проехали, санок уже не было. И вот мой стар-

ший сын – мы до сих пор с ним смеемся – он не понимал еще, как это опасно, что нас могут убить, он за эти санки! «Мама, мы ж с таким трудом достали эти санки, теперь кто нам их купит, откуда мы их возьмем? Ты их потеряла!». Всю дорогу он мне капал на мозги с этими санками. Ну, семь лет – что он понимал, он только в первый класс пошел, три с половиной месяца проучился, и сразу война началась.

Потом один мужчина выскочил, когда начался обстрел с вертолета: «Быстро заскакивайте в подвал, идите сюда». Он специально у ворот стоял и всех туда, в двухэтажное здание, где первый этаж был как подвальное помещение. Там много людей было, темно, и свое первое слово мой сын младший, 8 месяцев, сказал в этом подвале. Мы там долго сидели, главное, он не плачет, голодный, весь мокрый, но не плакал, видимо, наше состояние ему передалось. В какой-то момент дверь открывается, заходит его отец, мой муж, и он так приподнимается: «Папа!» – первое слово его было.

Мы 20 километров в этот день прошли пешком по снегу. В этот день я поняла, что война идет не с боевиками, потому что мы выходили из города, это была колонна – только несколько мужчин с нами было, остальные – женщины и дети. А с вертолетов это очень хорошо видно. В город въезжали некрытые грузовики с боевиками, с оружием – они их не трогали, они их пропускали в город воюющий, а нас, тех, кто выходил из города, они видели, что это женщины с детьми, нас обстреливали, несколько раз нам приходилось ложиться на поле. Устали очень сильно, 20 километров все-таки. Целый день идти с детьми очень тяжело. В какие-то моменты муж все-таки стал брать ребенка на руки.

Так мы дошли до окраины, где наши дальние родственники жили, они нас встретили у себя, и мы 8 дней у них прожили. Через три дня уже, когда сказали, что обстрел закончился, мы с мужем вернулись в город, чтобы кое-что взять из документов. И когда мы с мужем приехали в город, страшная картина была, по улицам валялись трупы кошек, собак, людей, коров, прямо по улицам все это валялось, в то время еще не убраны были трупы. Дома разрушены, все разбросано – это страшная была картина. Пришли мы в свой двор – там пройти невозможно, потому что вся черепица, шифер с крыш на земле валяется, и разрушено здание наше. Оказывается, как только мы утром уехали, рядом с нашим подвалом три снаряда взорвались. Нас спасло то, что мы оттуда уехали, а если бы мы в тот момент были в подвале, нас бы просто оглушило, если б не убило напрямую.

Аза, 23 года

В первую войну, конечно, свет, газ отключали. Ну, это все ерунда, все равно у нас продукты были. Когда вторая кампания началась, тогда, действительно, не то что с условиями, но и с едой начались проблемы. Все закончилось и осталось только то, что мама сама солила, этим приходилось питаться, но, когда закончилась мука, вот это было страшно, потому что без хлеба – это, казалось, просто невообразимо. Потом люди покупали по невероятным ценам зерно, перемалывали его. И всегда туда попадали камни, песок, и этот хлеб приходилось есть с песком. Ну, первое время это было ужасно, но к чему только не привыкаешь, и вскоре это тоже казалось ерундой.

Что мне лично помогало – я рисовала. Я все время рисовала, рисовала свои эмоции, какие-то картинки, даже свои сны, и писала иногда. Ну, правда, бумаги, ручек тоже тогда не было. Я помню, старые газеты брала и там, где были белые, свободные от надписей полоски – я писала и рисовала мелкие какие-то рисунки. Когда люди толпились в этом подвале так тесно и говорили о войне, об убитых, о том, кто ранен, то есть для меня слушать это было невозможно, потому что и так все это видишь. Казалось, зачем об этом еще говорить? Зачем это надо? Я тогда не понимала, что для людей это своего рода рефлексия, им так легче становилось. Но я думала, почему эти взрослые такие жестокие, почему они не могут о чем-то другом поговорить?

Я помню, как только мы уехали к родственникам, у мамы молоко пропало для братика маленького – четыре месяца ему было – и нужно было детское питание, а денег тогда уже не осталось. Мама собрала все свое золото, все украшения и продала это за какие-то копейки, лишь бы купить еду для брата. Ну, и если сравнить с другими, я считаю, что у нас намного легче все было, потому что были случаи, когда люди с голоду даже умирали.

Я помню, когда мне было 4–5 лет, я смотрю телевизор, как раз 9 мая. Тогда часто показывали военные какие-то фильмы – взрывы, все это. И я спрашиваю маму: «Мама, почему эти фильмы вообще показывают? Это же невозможно, чтобы на самом деле такое было, да? Это же ужастики? Там есть чудовища, но ведь это кино, у нас же такого никогда не будет?». Мама говорит: «Конечно, нет, не будет! Ты что!». Когда я поняла, что война началась, то у меня сразу эти картинки из фильма начали всплывать, но обсуждать это ни с кем не хотелось. А взрослые соседи собирались и всегда говорили о ком-то, о чем-то, что там произошло, что здесь будет, что в Грозном творится. А дети – нет, дети пытались отгородиться от этого всего. Я спрашивала: «Мама, когда я смогу в пижаме поспать? Мне надоело, я не могу в этой одеж-

де». Хотя сейчас, как ни смешно, после войны осталась привычка, иногда я могу лечь спокойно в одежде, мне это кажется нормальным.

Я могу рассказать один случай. Во время зачисток, я не знаю, почему, но забирали, убивали, много случаев таких было. Один парень, в тот период мне уже было 14 лет, мы с ним познакомились, когда паспорта пошли делать. Мы сдружились, но не сказать, что мы были очень близкими друзьями. Он был парень с нашего села. Я однажды услышала, что его забрали военные. У него отца не было, его мама каждый день в Грозный ездила и просила военных, если он уже не жив, хотя бы тело передайте похоронить. Они неделю-две говорили, что у них его нет, и тела нет, они его не забирали, не надо к нам ходить, что для нее это небезопасно. Но это был ее единственный сын и ребенок вообще. И она не переставала, каждый день ходила, допоздна там у них засиживалась и уходила. Где-то две недели спустя ей отдали труп парня, ну, он уже был убит, и, как бы они ни отрицали, он у них был. Парню было 14 лет. Он никак не мог не то что воевать, он не мог оружие в руках держать. Страшно было, как его убили, потому что его тело было изуродовано, ногти оторваны, скальп снят, ноги-руки переломаны, ожоги на теле были разной степени. После этого месяц не хотелось вообще говорить, но перед родителями я не могла показать, что переживаю из-за чего-то, я не хотела, чтоб мама переживала, чтобы мои переживания еще ко всему добавились. Мне приходилось постоянно это скрывать. И рисовать, писать я тоже перестала в этот период, потому что, наверное, нужно было время, чтобы набраться сил, к тому моменту силы уже иссякли. Не знаю, откуда они брались каждый раз.

Русские из нашего села после первой кампании в основном все разъехались. Как только война началась, многие начали уезжать. А вот в Грозном, начали же Грозный в первую очередь бомбить, вот там больше, чем чеченцев, погибло русских и других. Во время зачисток русские соседи, много было случаев, когда защищали своих соседей, когда тех пытались увести. Русскую женщину одну, старую, я помню, ударили прикладом за то, что она заступилась за чеченского парня. Но это уже считалось чем-то сверхъестественным: «Ой, русская женщина, представьте, заступилась!»

Помню, один раз случилось вот что. Мы, дети, на втором этаже, на первом мама с бабушкой смотрят телевизор, и там показывают людей, которые погибли, и называют район. И я знаю, что они это смотрят, и я слышу, кого-то они узнали. И потом еще я слышу, что они называют имя моего отца. И мама это услышала. Я не стала спускаться, я просто сидела. Я маму не хотела видеть. Я знала, что у нее, наверное, на лице будет что-то ужасное, что если

я это выражение увижу, это будет слишком больно, даже страшнее, чем возможная смерть папы, потому что нас было много, а мама была одна. Я помню, мама ничего не сказала. Она просто начала собираться. Они ей говорят: «Ты что, хочешь туда поехать, там перекрыто все, Грозный закрыт, его активно бомбят, ты что, ненормальная? У тебя пятеро детей, подумай о детях!» Я думаю, мама ничего не слышала, мама вообще тогда не думала, она просто собиралась поехать и убедиться, что это сообщение – неправда. Я знаю, что она не поверила в это. В то же время – это была война. И там все было возможно. Она оделась и поднялась к нам, стала нас обнимать: «Если успею, я сегодня приеду, не успею – завтра». И я не смотрю на маму, я думаю, лишь бы вот – сейчас нельзя расплакаться, потому что если я расплачусь, мама поймет, что я это слышала, у мамы тоже могла начаться истерика или что-то еще. И она ушла.

Она потом рассказывала, что она вышла из дома и побежала. Один водитель сказал: «Я провожу тебя до Грозного, в сам город въезжать не буду, дальше – как сама хочешь». Там действительно бомбили, можно было понять, что он не захотел туда въезжать. И он там маму высадил. Она пешком пошла в Грозный и до вечера шла до дома пешком. Но с папой все было в порядке, они, оказывается, все перепутали, очень похожий мужчина был, и район тот же. Потом ей пришлось бежать обратно, но все перекрыли, и тогда у нее началась истерика, потому что у нее пять детей, а она не может к ним попасть. Говорили, что, возможно, месяц не откроют эти дороги. Два дня спуская, она все-таки сумела обходами, пешком, на машине, кое-как она прошла через все это и вернулась домой. Сказала, что с отцом все в порядке. После этого случая, недели через две, мы вернулись домой.

Раньше мама много солила – и помидоры, и огурцы, где-то по 50 банок. И потом варенья всякие, салаты. Я помню, что именно эти соленья она русским солдатам отдавала. Это совсем пацаны были. Просто такой период был во вторую кампанию, когда это были совсем пацаны. Весна или уже лето было, они приезжали в село, и там, конечно, были и омовцы, взрослые мужики, но основная масса русских солдат – это были пацаны. Тогда люди действительно жалели этих молодых парней, потому что было видно, что им тоже это не нужно, они сами говорили: «Мы же тут не по своей воле, нам это все не нужно, нам здесь плохо». Один парень говорит: «Я хочу домой, просто маму повидать». Они очень голодали. И я помню, как они с деревьев срывали абрикосы, и как они кушали!

Был один период, несколько месяцев это продолжалось, ночью к людям начали ходить и стучаться. Открывали, там ходили русские солдаты, один человек, иногда двое, но не больше, то есть по одному приходили, чтобы не пугать, и просили: «Можете хотя бы кусок хлеба дать? Просто кусок хлеба». И люди давали. Искренне, искренне давали. Уже соседи говорили: «К вам приходили? А к нам вот этот мальчик приходил». И вот так они ходили. Говорили, как их жалко, этих парней, и почему вот эти там, у которых много чего есть, почему они так с ними поступают. То есть появились у людей вопросы: значит, там не все хотят, не все такие, там есть сторона, которой тоже плохо, которая тоже реально страдает от всего этого.

Мне кажется, когда мы были все вместе, не так страшно было, потому что ты в одном помещении со всей семьей, и если что-то случится, ты знаешь, что случится со всеми. Самое страшное было – это остаться одной, остаться без кого-то. Тогда ты теряешь смысл жизни. Зачем тогда жить? Жить для себя, одной жить? В этом я не видела смысла.

Магомед, 27 лет

Тогда, в первую войну страх был, когда появлялись самолеты, истребители. Первая, она отличается от второй, потому что все время были позиционные бои, то есть если начинают здесь, то все знают, что надо покинуть село. Покидают, а когда все успокоится, возвращаются. Жить можно нормально. У нас в селе рынок маленький, там стоят автомобили с боевиками, они покупают себе продукты питания, сигареты, рядом стоит бронетехника федералов. Они не стреляют друг в друга, не убивают. В селе боевики, а недалеко от села – пост федералов, они просто проезжают. Это был плюс по сравнению с тем, что было в 1999 году.

Во время второй войны везде начали бомбить, любой мог почувствовать на себе это отношение федералов, а во время первой войны врагов не было. Когда были первые взрывы, это глубинные бомбы, мы бежали, те, кто успел, в подвал. А вот соседи, которые напротив нас, в их дом попала бомба, и шесть человек там погибло. Помню Магомеда, почти мой ровесник, он единственный, кого не собирали по кусочкам, а остальных собрали и похоронили на второй день. Это было 14 августа. После уже помню Хасавюртовское соглашение. Лебедь для нас тогда был спаситель.

Закончилась война. Школа в сентябре 96-го года. В сентябре вроде бы война закончилась, но вдруг появился вертолет, и такой был испуг! До этого

я никогда так не пугался. Учительница нас успокаивала, говорила, что «все закончилось, не пугайтесь, они не будут бомбить».

Учителя не получали зарплаты, некоторые отказывались работать, поэтому мы начали платить копейки за каждый месяц, за каждого ученика. Это было в 99-м году. Значит, в 96-м, 97-м, 98-м они работали бесплатно. Сейчас я удивляюсь, они не получали ни одной копейки, но они работали.

Зачистки – вот тогда мы поняли, что такое зачистки. Наше село блокировали, и никого не выпускали. Впускали только, но не выпускали. Двоюродному брату отца и главе администрации разрешали выходить. Люди заказывали продукты питания, и был грузовик, и они под заказ привозили продукты питания. Село полностью было блокировано. Мы уже знали, что-то будет в нашем селе, потому что солдаты-срочники говорили, что здесь скоро будет кошмар. И к нам в село с гор спустились боевики, мелкими группами, по 10–15 человек, они были голодные, не могли стоять на ногах. Люди давали им еду, переобували их, переодевали, и у кого были паспорта, они через другие села, через леса возвращались домой. 4 марта утром, было 6.40, солдаты нам сказали и всем встречным говорили: «Покидайте село, потому что здесь будет кошмар». Солдаты предупредили. Мы собрались все. Мы видим на улицах боевиков, они не могут даже стоять на ногах, на лавочке сидят, я помню, он смотрит на нас, а голова его не держится нормально, и он на чеченском: «Извините нас, простите, мы не виноваты, нас тоже подставили». Я до сих пор эти слова помню. Он видит, что дети, женщины, старики покидают село из-за них.

У нас где-то два километра расстояние от села до комендатуры, а между комендатурой и селом – поля, которые отведены для жилищного строительства. Мы думаем, нас пропустят. Нет, говорят, на посту с 10 до 60 лет мужчин не пропускают. Остальные могут идти. Мне тогда было 13 лет, меня не пропускают, отца не пропускают. А мать с сестрой и с братом не решилась идти, как и все остальные, которые остались со своими сыновьями, с мужьями, с братьями. Нас целое село, и вот мы под открытым небом, 4 марта, ждем, что будет – зачистки, боевики, сейчас всех поймают, и все мы обратно, или нас отпустят. Нам вечером сказали, что можно возвращаться, все нормально, там нету никого. Мы возвращаемся в село, там боевики, они спрашивают: «Почему вы вернулись?» Оказывается, они не проверяли те места, где находились боевики.

Утром мы опять покинули село, но нас никуда не пропустили. Мы под открытым небом, к нам не подпускают никого. За комендатурой стоят люди

из соседних сел, родственники, принесли продукты, но их к нам не подпускают. Два дня мы пили воду из лужи, и некоторые солдаты, мусульмане-татары, не показывая остальным, давали нам кашу, приказ есть приказ, но они пытались нам помочь. 5-е марта под открытым небом, 6-е, 7-е, нас держали в качестве живого щита. За нами комендатура, а впереди нас... Они не двигались из-за того, что мы там. 9-го марта, когда они узнали, что все под их контролем, нас отпустили. Но там погибли где-то полторы тысячи человек, это боевики, по официальным данным, со стороны федералов – 600 человек, это официально, но их было намного больше. В течение трех недель шли бои, село полностью было разрушено. После этого мы переехали к тете, потом опять к бабушке-дедушке. Оттуда мы переехали в Ингушетию. Жили в палаточном лагере, получали только гуманитарную помощь. Мы потеряли все, что у нас было. Ничего не успели взять, невозможно было взять. В Ингушетии жили два года. Переехали в пункт размещения в Серноводск. Вот этот период связан с зачистками, все это, помню, тогда уже было. Все время зачистки, зачистки, проверки документов, людей забирали, пытали. Вот это вторая война была. Вот то, что запомнилось.

Аслан, 24 года

Когда начали бомбить наше село, школы не работали, детские сады не работали. Мы попытались выехать из села, потому что поняли, что война дошла и до наших границ. Ингушетия рядом, и там у нас были родственники. Мы попытались проехать к ним, и, когда мы уезжали во время бомбежки, я увидел первые трупы, лежащие на дорогах. Это была взорванная машина, которую подбили, обычный уазик, в нем лежали трупы, были трупы женщин, было двое мужчин. У папы была старая машина, «копейка», мы взяли документы, никаких вещей не брали и выехали в Ингушетию, доехали до родственников и там жили. У них было много других наших родственников, которые остановились у этих людей, было очень неуютно, нас было по 15–16 человек в одной комнате. Мы штабелями лежали, ночевали. И антисанитария была – все заразились чесоткой. После чего отец сказал, что так жить невозможно, в таких условиях мы жить не будем. Снимать по сто долларов комнаты у нас не было средств, поэтому отец через два месяца решил, что мы вернемся в село, несмотря на то, что там русские, там война. И мы вернулись и продолжали жить в нашем доме. Он был наполовину разрушен, наполовину пригоден как жилье, газа и света не было, и мы топили дровами.

Я помню, что это было очень скучное время, потому что делать было нечего. Родители никуда меня не выпускали, выйти на улицу было страшно, потому что везде были русские солдаты, везде была техника, почти во всех дворах кого-то хоронили. Рядом с нами была речка, и я водил нашу скотину к водопою. Вот единственное развлечение, которое там было. Ну, и конечно, мы с братьями играли, тогда был только один брат. У нас было еще развлечение – собирать гильзы. Мы бегали по пустым огородам, по садам, ели фрукты. Но я помню, что было страшно и опасно, напряженная была ситуация в тот момент. Мы сидели дома, у нас были свечки, радио на батарейках, мы слушали радио. Когда отец переставал слушать новости, мы слушали музыкальные каналы, такие, как «Европа плюс».

В первую войну почти все воевали, все мужское население воевало, это был первый признак негативного отношения к солдатам. Мы всячески помогали нашим ополченцам, боевикам, всем, кто воюет. Я помню, мама постоянно готовила еду, потому что ее двоюродные братья, молодые, воевали. Зачистки были почти каждый день у нас дома. Люди заходят в грязных сапогах по коврам, лазают по постели, это была излюбленная вещь – залезть на постель в грязных сапогах, было такое у солдат. Мы всегда мечтали что-то сделать, будучи маленькими, хоть как-то их пырнуть, хоть что-то такое сделать. Смелости не хватало. Хотя мы были маленькими, негатив видели во всем. Не было у меня такого, чтобы я добрым взглядом посмотрел на солдата. Пропадали люди, пропавших было много, поэтому ждать от нас каких-то позитивных эмоций в сторону солдат было просто нереально.

Что такое зачистка? Заходят солдаты с четырех сторон села, с четырех углов, и шеренгой прочесывают все улицы одновременно, чтобы никто не смог перебежать на другую улицу, по домам ходят и проверяют. У них бывали конкретные задачи, когда они кого-то ищут, бывали и просто плановые зачистки, чтобы люди не расслаблялись. Это носило как устрашающий, так и точечный характер, чтобы люди боялись зачисток, боялись помогать кому-то, боялись приютить раненого. У нас дома был скрытый подвал. А они всегда искали подвалы. Как только они находили подвал, заглянут – внутри темно, они без разбора закидывали туда гранату, потому что заходить туда боялись. Известно, кто там есть, но излюбленная тактика была – забросить гранату. Так, в соседнем доме забросили гранату в подвал, где жила бабка пожилая. Родные устали туда-сюда ее таскать, потому что при каждой бомбежке ее надо было спускать в подвал. Оборудовали подвал, поставили камин, она там жила, и с ней рядом жила ее дочь старшая, постоянно при ней находилась.

Они туда заглянули, увидели, кто-то там есть, и закинули гранату. Там всех разорвало, я помню, как отец в мешок из-под муки пытался собрать то, что от них осталось. Вот такие были зачистки, когда тотально, одновременно прочесывают все улицы, начиная от конца и доходя до середины. Потом были автобусы, людей, задержанных для проверки, загружали в автобусы, везли в комендатуру, кого пытали, кого сразу отпускали.

Когда началась война, это был 99-й год, мне было 11 лет, я уже занимался домашним хозяйством, занятий в школе не было. Я пас коров, что было очень опасно, потому что вокруг были заминированы все поля, все лесопарковые зоны, все было заминировано. И мальчики взрывались, и мужчины взрывались, скотина взрывалась часто.

Во вторую кампанию бомбить было уже нечего, дома были разрушены, лес заминирован, поэтому бомбили мало. Постоянно летали вертолеты, я помню, что на поле была вертолетная база. Туда летали вертолеты, большие транспортные вертолеты, они перевозили «груз 200» – трупы. Вертолеты с трупами были белые, а продовольственные – синие или зеленые, они возили продукты и людей. Нам, мальчикам, нравилось смотреть на вертолеты, мы пытались даже попасть в них камнем, но это было из области фантастики. Вот такие были времена второй кампании.

А зачистки шли постоянно. Был приказ проверять всех мужчин от 10 до 60 лет (они считались потенциальными боевиками), и вот тогда меня уже начали забирать, забирала два раза во время второй войны. Один раз меня забрали, когда мы ездили в Ингушетию за продуктами, и повели в комендатуру. Проверили мою метрику, тогда паспорта у меня еще не было. Просто не поверили, что мне 11 лет, потому что я взросло выглядел.

Был 2003 год. Забрали меня и еще пять парней, всего нас было шесть. Мы оказались в каком-то подвале, я не знал, где это было, потому что подвал был темным, окон не было. Сначала у нас были связаны руки и завязаны глаза, потом глаза развязали, но было очень темно. Мне было тогда 14 лет, я уже был почти бородатый, а те парни были старше меня. Никто не знал, где мы находимся. Это продолжалось около 10–14 дней, точно я не помню, нас держали в подвале, каждый день нас били, еды почти не давали. Нам кидали в виде издевательства консервные банки с тушенкой, которые открыть голыми руками было невозможно, тем более что у нас были связаны руки. К нам закидывали собак, овчарок, которые нас кусали, у меня остались шрамы от укусов на ноге, на теле. Такого рода пытки были. Тех, кто был со мной, пытали током, меня это обошло стороной. Были допросы с пристрастием, их пытали, все

слышали крики. Меня и еще одного парня, он тоже был молодой, лет 16, нас двоих не пытали током, нас били, но не током. Это продолжалось почти каждый день, я точно не знаю, сколько дней прошло. Было темно – не знаешь, день или ночь в подвале. Потом меня вытащили из подвала, я был в очень плохом состоянии, все болело, кровоточило, заражение ран было, все тело было опухшее, у меня была вывихнута рука, плечевой сустав. И меня куда-то повели, по ходу я потерял сознание и очнулся где-то на дороге, около заброшенной фермы. Я был полуголый, одежда порвана, весь черный, похож на негра или шахтера какого-то. Я очнулся, кое-как встал, кое-как начал идти, машин никаких не было, я шел, наверное, часов шесть с промежутками, отдыхал. Потом подъехала машина, меня загрузили, я сказал, откуда я, и меня довезли до дома. Тех пятерых парней так и не нашли, они пропали без вести, больше никто не видел их, последний, кто их видел, – это я. Долго лежал в Ингушетии в больнице, месяца полтора, пока все заживало.

Потом началось более мирное время, хотя до сих пор мира в Чечне нет никакого, а напряженность – она есть.

Трудно выделять позитив, когда ты тотально всех ненавидишь, солдат. Конечно, все мы люди и понимаем, что там были и хорошие парни, были такие, которые пришли не по своей воле, особенно в первую войну, солдаты-срочники. Я помню, были случаи – рассказывал мой дядя, которого уже нет, он воевал, и его давно убили, – что пленные солдаты, это были дети, какая там борода, у них еще щетины нету. Они сидели и целый день плакали. Не то, чтобы их расстрелять, они настолько беззащитные, дети просто. Конечно, все понимали, что это не солдат, просто мальчик, которого взяли, повесили ему полурбочий-полунерабочий автомат на шею и закинули сюда для количества. Я знаю много случаев, когда в первую войну матери солдат приезжали в Грозный, находили в плену своих детей, и им без проблем их отдавали, потому что видели, что мать нашла своего. Не знаю, может, я предвзято относился, поэтому во вторую я не заметил хороших солдат. Я знаю, что среди них были нормальные, но... Если ты солдат, то, извини меня, ты пришел с оружием на мою землю, да? Если ты солдат, и тебе скажут, сядь на танк и пульни по тому зданию, вряд ли ты подумаешь, а вдруг там люди, и не будешь пулять. Ты ж не видишь людей, сидящих в здании. Пульнул, снаряд попал и все разрушил – ты свободен, и совесть тебя не мучает. То же самое пилот, да? Может, он хороший семьянин, хороший человек. «Разбомби этот участок». – «А что там?» – «А там боевики, давай туда». Разбомбил и улетел, да? После этого он

скажет: «Я не виноват, что там были дети, что мой снаряд пробил подвал и еще километр земли».

Я считаю, что люди, которые не хотели воевать, они бы всегда могли дезертировать, убежать. Те, кто не хотел убивать, понимали, что они стреляют не только по людям, которые вооружены и защищают свою землю, но и по тем, которые сидят в подвалах. Поэтому я не склонен просто относиться к тому, кто там хороший или плохой. Для меня, наверное, хороший солдат – это тот, кто пришел, увидел, что здесь творится, и дезертировал, убежал куда-то, не знаю... Вот он для меня был бы солдат, который все понимает и что-то сделал, потому что понял. А понимать так, что это все плохо, но я все равно буду, мне придется участвовать в этом деле – это уже другое. Даже если он не убивал никого, но участвовал в зачистках, задерживал людей, которые потом могли исчезнуть, пусть он только их задержал, а другие убили. Он все равно как-то участвовал, поэтому я считаю, презумпция виновности тут есть.

Вторая война – это была почти контрактная война, потому что они не хотели повторения первой, не хотели закидывать сюда «карандашей». Боевики называли «карандашами» срочников. «Карандаши» стояли в ряд, и было очень легко стрелять в них, они не умели прятаться. На этот раз Россия более грамотно к этому вопросу подошла, и во вторую войну уже все были контрактниками, это бывшие милиционеры, военные запаса, которые отслужили до этого. И тех, кто участвовал во второй кампании, я считаю людьми, которые пошли воевать, чтобы заработать денег. Уверен, что среди них было больше отморозков, чем хороших, реальных таких парней, это мое сугубо личное мнение, кто-то может не согласиться.

Аркадий, 35 лет

Собственно говоря, от первой Чечни у меня воспоминания не столько как о войне, сколько как о концлагере, потому что нас били. Если 10 раз за день по башке не получил, то день прошел зря. Мы жили вместе с разведротой. Нас туда привезли, пятерых связистов, а их было 46, они вернулись с какой-то очередной зачистки... Лейтенант был у них. Говорили, что он родом из Грозного, то есть беженец, получается, он оттуда бежал с семьей, два раза его контузило, и у него какое-то количество людей погибло в разведротке. Рассказывали, что до войны это был хороший, улыбчивый мужик, но когда мы туда приехали... Во-первых, он говорить не мог после контузии, очень плохо говорил, а во-вторых, объяснял что-то только кулаками, только избиениями. Я помню, он вызывает, то есть не вызывает, он в каптерке сидит, водку пьет, и

вдруг – выстрел в потолок. Ты туда приходишь: «Товарищ старший лейтенант, вызывали?» Он прикладом в лоб – раз! И ты сразу понимаешь, чего от тебя хотят. Берешь у него деньги, покупаешь водку, закуску, приносишь ему. Он продолжает дальше пить. Пьет, сидит и стреляет в потолок. При этом ничего не говорит. Молча. Потолок там был весь пробит. Ну, и в офицеров стреляли. Солдат со сломанными челюстями вывозили постоянно, каждый день кого-то вывозили.

У нас в роте по штатному расписанию было 32 человека, 14 выполняли задание правительства по восстановлению конституционного строя на территории Чеченской республики, а остальные 16, или сколько там, я уж не помню, были в бегах. Сбежал даже лейтенант, командир взвода, тоже срочник, потому что не вынес дедовщины. Прислали нам как-то в роту еще 4 или 5 молодых. Значит, мы спим. Тут разведчики просыпаются. «Давайте, – говорят, – ваш молодняк проверим». Мы говорим: «Давайте проверим, нам-то что? Валяйте». И, значит, их поднимают, ставят в круг, и начинается «боксирование». Короче говоря, по одному выводят в круг, один разведчик и один связист должны драться, кто победит. Мы как-то утром проснулись, ни одного молодого в роте больше нет, все сбежали, за одну ночь все сразу сбежали. Один в роте оставался, но все равно потом свалил. Поэтому у меня о первой войне воспоминания скорее как о концлагере.

А в саму Чечню я попал 16-го июля, это как раз были выборы Ельцина. Нас туда привезли. Мы все уже начали писать рапорта, потому что невозможно было оставаться, хоть куда от этой дедовщины. Хоть в Чечню, хоть на Марс, хоть куда, только увезите нас отсюда. Старшина у нас был хороший мужик. Он нам говорит: «Вы что, дураки, что ли? Ну, куда вы поедете? Вас там всех грохнут. Не надо». А он Чечню прошел уже. Он нас всячески отговаривал, но в итоге мы все-таки уехали туда. Приехали. С выборами до нас, конечно, никто не доехал. Мы были уверены, что теперь-то уж точно войне конец, потому что Ельцина никто не выберет. Нельзя же после такого этого человека выбрать второй раз. А вот взяли и выбрали. Вот тогда предательство общества, не страны, не государства – потому что государство нас предало, когда туда нас послало, 18-летних и необученных – а вот предательство общества мы ощутили, предательство своего народа. Это тогда очень сильно ощущалось.

Там я был, наверное, недели три, потом ко мне приехала мама. Приехала в Моздок, говорит: «Где мой сын?». А ей отвечают: «А черт его знает. Понятия не имеем». Начали меня искать. Нашли меня в Чечне. Приехал прапорщик, сказал: «Давай, собирайся, едешь в Моздок, там твоя мама приехала, всем

мозг вынесла, езжай к ней, успокаивай ее сам, как хочешь». Я поехал в Моздок.

Мама моя ехала туда на попутках. В школе ей каких-то денег собрали на дорогу, она ночевала на блокпостах, и все это она видела, все это пережила, эти омовские блокпосты и их попойки. Мы потом с ней очень долго не могли разговаривать. Мы вообще рядом не могли находиться: 10–20 минут мы вместе, а потом срываемся на крик. У нее свой синдром – матери комбатанта. Она меня домой забрала, я домой съездил, дома побыл. Дали мне отпуск, приехал домой, у меня отец как раз заболел тогда. 10 дней пробыл дома и потом вернулся обратно, в Моздок. Старшина меня встретил: «Аркадий, ты что ли?». Бутылку водки привез, на стол ему ставлю, говорю: «Я». – «Ну, ты, – говорит, – дурак. Все отсюда, а ты сюда. Че ты, – говорит, – вернулся? Я на тебя написал уже самовольное оставление части, я вообще не думал, что ты вернешься». Он к маме сам подошел, сказал: «Вот военный билет вашего сына, забирайте его отсюда, увозите его к чертям собачьим, тогда он живой останется». Но я как-то посчитал, что дезертировать не хочу. Хочу все-таки отдать свой долг Родине до конца, раз уж попал, так попал, чего делать, к тому же пацаны там остались, а я убегу, что ли, оттуда? И вернулся.

Я вернулся в роту, а в роте уже никого, потому что вся рота в Чечне. А все, кто не в Чечне – в бегах, и я там один остался, и один я, сам по себе, жил еще месяца полтора, наверное. В казарме я почти не ночевал, ходил куда-то в степь, под кустами ночевал и еще где-то побирался, приходил в часть только пообедать. В госпитале, наверное, неделю прожил. Двое из нашей роты там лежали. Я туда пришел, говорю: «Ребята, дайте у вас пожить». Они меня взяли пожить. Врачи меня выгоняли на ночь, но днем я там тусовался, кушал у них там, душ принимал. А так – ни душа не было, ни бани. Какое-то время я там жил. А потом наступил август 96-го. Уже Грозный чеченцы захватили, уже все понятно стало. Числа 10-го из нас начинают формировать сводный батальон, из всех, кто остался в Моздоке, всю шушеру – поваров, связистов, механиков, медиков, всех собрали в этот сводный батальон.

19 августа нас отправляют, построение на плацу, «Прощание славянки». Мы разворачиваемся, идем на взлетку, вертушки нас ждут, и смотрю, через плац бежит почтальон наш с конвертом. Подбегает ко мне, говорит: «На, у тебя отец умер». Еще бы 20 минут, и все. Он успел, молодец, когда получил телеграмму, понял, что к чему, и сразу за мной побежал. Все летят в Грозный, а я – на похороны отца, обратно еду. Батальон этот раздолбали сразу в Ханкале, они как сели, вертушка приземлилась, их сразу расстреляли, потом

какие-то еще у них были неувязки, и из 96 человек обратно 42 только вернулись, это я точно знаю, мне потом рассказывали. А я поехал второй раз домой, как раз попал на похороны отца. Папа тоже вовремя умер, молодец, еще бы на день позже – и все, меня бы там точно грохнуло. Это чувствуется, это уже знаешь, то есть я там понял, что меня грохнут.

Вот побыл я дома, перегулял отпуск дней на 10, то есть мне отпуск дали 10 дней, а я прогулял дней 20. Говорить вообще не о чем, потому что из Моздока отпуска запретили, так как обратно никто не возвращался. Я не знаю, почему меня оттуда отпустили, «папа умер, мама умерла» – это им было пофиг, никого оттуда не выпускали. И те, кто оттуда уезжал, возвращались месяца через 4–5, только увольняться, а я всего на 10 дней перегулял, вообще говорить не о чем.

Иду в комендатуру, здесь в Москве, поставить на отпускной лист печать прибыл–убыл: «Поставьте мне печать, у меня уже билет в Моздок куплен, вот мой билет, и я белым лебедем в родные края улетаю, ставьте». Они: «А вы, – говорят, – отпуск перегуляли». – «Я знаю, там 10 дней, какая разница? Ставьте, что я уехал, и все, через день я в Моздоке». – «Сейчас, – говорит, – подождите». Уходит этот лейтенант, возвращается, говорит: «Все в порядке, все хорошо», – я говорю: «Решили вопрос?» – «Да-да решили, пройдемте, надо еще одну формальность». Мы с ним пошли, приходим в кабинет коменданта города Москвы, лейтенант говорит: «Подожди здесь» – заходит туда, выходит, говорит: «Все в порядке, пойдем». Заводит меня в подвал, отдает дежурному по подвалу, говорит: «Вот держи, мы еще одного «лыжника» поймали» – это значит, меня. «Ремень, шнурки, смертник на стол» (смертник – гильза, в которую вкладывается записка с краткими сведениями о военнослужащем, необходимыми в случае его гибели – *прим. ред.*) А я не понимаю ничего: «Какой «ремень, шнурки, смертник»? У меня поезд. Я опаздываю. Ставьте мне печать, и я свалю». – «Солдат, ты что, не понял, что ли? Ремень, шнурки, смертник на стол». Отвозят в Лефортово, в комендантский полк. Заводят на меня дело по дезертирству и сажают, в общем, в эту кутузку. Недели две я там отсидел, наверное. Приходил ко мне следователь, говорит: «На тебе бумажку, подпиши». Вообще, солдат – это раб, самая низшая степень рабства, ты там ничего не решаешь, за тебя все решают, что тебе делать, как жить, где жить, что есть, когда вставать, писать, какать, вообще, все полностью. А тут я что-то, возьми, да эту бумажку прочитай, не знаю, почему. Говорят: «Подписывай!» – ты берешь и подписываешь, то есть у тебя воля отсутствует напрочь, а тут я читаю, что рядовой такой-то, Пупкин, задер-

жан на Белорусском вокзале нарядом милиции, когда убежал из армии, что-то такое. Я говорю: «Товарищ капитан, я не рядовой, я не Пупкин, я не задержан, я сам пришел». Посмотрел: «Да, действительно, это не ты», то есть хотел «на дурачка», чтоб я подписал, и три года дисбата, как тогда давали. (Дисбат – дисциплинарный батальон – *прим. ред.*) И вел он это следствие месяца три, а из самой губы (губа – гауптвахта – *прим. ред.*) меня перевели. Была тогда там такая шарашкина контора, пункт сбора военнослужащих – ПСВ. Там собирали всех таких дезерей (дезерей – дезертиров – *прим. ред.*) – кто из госпиталя, кто сбежал из Чечни, кто отбился от части.

Был у нас парень, его под Бамутом ранило, он там сутки провалялся, после чего его случайно подобрали свои и отвезли в госпиталь. Сильно его в спину ранило. В госпитале он пролежал месяца два, после чего ему дают отпуск домой после ранения. Заходит в дом, звонит в дверь, папа дверь открывает, видит сына и падает в обморок. «Папа, ты что?» – он говорит: «Как что? Ведь на тебя пришла похоронка, и мы тебя похоронили». Ведет его, показывает могилу: «Вот. Мы тебя похоронили». То есть им прислали, какой-то комок мяса, мол, это ваш сын – и они его похоронили. Вот он из дома решил возвращаться в часть, а части больше нет, ее уже расформировали. Вот такие, например, там оказывались.

Был парень после плена. В плен попал, несколько месяцев пробыл в плену. Он говорит: «Хорошо, нормально в плену. Нормальные хозяева были». Он у них работал. Они его кормили, не били. Скорее это даже не плен был, а просто жил он у них. Потом его положили в багажник (где-то в горах он был), провезли через всю Чечню, довели куда-то, дали денег на билет, и сказали: «Все, давай, езжай отсюда». Он приехал в Москву и тоже в этом ПСВ оказался.

В наряд мы ездили. Наряд назывался «спецгруз» – развозить гробы. То есть все, что приходит из Чечни, – все в Москву приходит. Привозят цинковый гроб, ты едешь на вокзал, забираешь этот гроб с товарного склада, ставишь на грузовик, везешь в другой аэропорт, на другой вокзал, и куда-нибудь их в Омск, в Тюмень, еще куда-то отправляешь – уже домой, на родину. Если в Москве, то везешь домой. Вот это самое неприятное было. Три месяца мы возили в день по одному–два гроба, стабильно было, ни дня не было, чтобы не приходили.

Месяца три я там, наверное, пробыл, пока по дезертирству следствие шло. Потом, когда дело закрыли, нам сказали: «Ребята, вам повезло, что попали на этот пункт сбора военнослужащих, в Чечню вы не попадаете ни при каких раскладах. Будете все служить в Московском военном округе». А мне

тогда в Чечню что-то не хотелось, то есть как-то хватило. Приходит разнарядка. Меня вызывают, еще 10 человек. Давайте, говорят, езжайте. Я думал, в Нижний Новгород. Бабушка с мамой как раз ко мне приехали в этот день. И тут они смотрят на эту разнарядку, а там написано: ВЧ (военная часть – прим. ред.), город Моздок-7, то есть меня туда же отправляют. Мама и бабушка устроили истерику, говорят: «Мы его не пустим», а мне и самому что-то не хочется, уже ноябрь 96-го, уже война закончена, войска выводят, там моих-то никого не осталось, не хочу туда ехать. Еще раза два меня пытались тихой сапой отправить в Чечню. Оба раза меня мама с бабушкой отстояли. Просто не пустили, и все. Сказали: «Мы не пустим, идите на фиг, он никуда не поедет». В итоге перевели меня в Тверь, в зенитно-ракетный дивизион, в конце ноября – начале декабря 96-го. И там я дослужил. Дослужил, дембельнулся, вернулся, восстановился в университете, закончил, получил высшее образование. Как получил диплом, недели через две прихожу домой, включаю телевизор, смотрю – вторая Чечня началась. И я пошел в военкомат, записался в контрактники и на вторую уехал. Вот так. В ноябре 99-го я заключил контракт с Таманской дивизией, мотострелковым полком. Заключил контракт, и где-то в середине декабря нас отправили в Чечню.

Это было иррациональное решение, абсолютно. Потому что вернулся я после всего этого, и я помню, меня вырубил, сильно морозило, когда едешь в грузовике. Дырявый он весь, продувает, зима, холодно. Ты везешь в этом грузовике труп, ну, цинковый гроб. И едешь по Садовому кольцу мимо казино, где стоят «мерседесы». И одно единственное желание у меня было – пулемет, дайте мне пулемет. Просто ехать по Москве и всех подряд убивать, всех на фиг убивать, потому что это невозможно – здесь трупы развозят, а здесь казино и «мерседесы». Это меня и переключило. Когда я вернулся, я в этом мире просто не смог обосноваться. Два года в институте учился, и тоже, не учился, а так, дурака валял. Эти два года как-то продержался. Потом институт закончил. Ну и что? Юристом пойти? Все эти бумажки переключивать? Не по мне совершенно. А тут как раз Басаев с Хаттабом напали на Дагестан. И никаких, ни малейших сомнений не было – я встал и пошел в военкомат. Я понял, что там все. Я там. Я должен быть там. Как бы тело мое вернулось оттуда, с войны, а мозги-то все равно там остались. И вот я свое тело отправил к своим мозгам туда, где они были. Дело не в Чечне, абсолютно. Мне абсолютно было пофиг, где война началась. В Чечне, так в Чечне, в Красноярске – я б в Красноярск поехал, в Москве – так в Москве. Это дело было – сам факт войны. Там таких было полно, тех, кто прошел первую Чечню

срочником, потом во вторую возвращался контрактником. Те, кто не успел за эти два три года спиться, большинство вернулись на эту войну.

Я маме и бабушке не сказал. Я им сказал, что поехал на нефтяные вышки в Сибирь. Ну, мама-то поняла, конечно. Бабушка тоже не поверила, что я поехал нефть добывать в Сибирь, она смотрела телевизор, все репортажи из Грозного, и в одном репортаже увидела-таки меня. Позвонила маме: «Я же тебе говорила, что он на войну уехал».

Меня опять взяли в связь. Я когда в дивизию приехал, зашел в казарму, и первое, что я увидел – это привязанный к решетке оружейной комнаты человек с разбитым лицом. Привязан он был за руки, на ногах у него были лыжи, на грудь ему был повешен танковый трак с надписью «самоход». «Самоход», «лыжник» – это на армейском сленге означает дезертир, тот, кто бежал. Парень не хотел ехать в Чечню, не хотел писать рапорт, и вот его таким макаром обучали родину любить.

Взвод связи. Там мы недели две просто-напросто бухали, потому что выдали аванс. Вся эта алкашня спустилась в подвал, они взломали пол на первом этаже в казарме, и две недели оттуда просто не вылезали, две недели бухали. Я-то еще более-менее участвовал в жизни. Вся наша подготовка к отправке в Чечню заключалась в том, что мы пришивали бирки на вещмешки и подписывали. Стрелять не ездили ни разу. На полевую не вышли ни разу. Никаких учений у нас не было ни разу. Автоматы нам выдали стреляные. Стрелять никто не умел вообще. Но зато у нас бирки были пришиты правильно. Два раза в день у нас был строевой смотр. Приезжает комиссия из Министерства обороны, проверяет готовность войск к отправке на войну. Как мы стреляем, как мы что-то умеем – это никого не волнует. Все смотрят на бирки. Приезжает один генерал, говорит: «Бирки у вас пришиты зелеными нитками, а по уставу должны быть черными». Весь полк возвращается в казарму, срезает зеленые нитки, пришивает черными, выходит после обеда на построение. Там уже другой генерал: «У вас, – говорит, – черные нитки, а по уставу должны быть защитные». Весь полк возвращается в казарму, срезает черные нитки и все перешивает зелеными. На следующий день выходим на плац, приезжает третий генерал: «Что это, говорит, у вас бирки три сантиметра от края, а должны быть пять сантиметров». Весь полк возвращается в казарму и перешивает на пять сантиметров. Вот так две-три недели такой фигней мы занимались, после чего поехали в Чечню. Пока ехали, 13 человек сбежали. На остановках запретили выходить. Ставили часовых, но 13 человек все равно сбежали. Приехали мы в город-герой Моздок. Я смотрю, все то же

самое, дежа-вю. Техника та же самая, ну не та же самая, конечно, другая, но те же эшелоны с разбитой техникой стоят. Ночь переночевали и утром всем полком поехали в Чечню, где-то там, на окраину, в поля под Грозным. Там неделю стояли. Опять же никто никого не обучал. Я во взводе связи, я взводному говорю: «Пойдем, хоть автоматы пристреляем, потому что никто ж не знает, как стреляет этот автомат». Но так в итоге и не пристреляли.

Потом нас перекинули под село Г. Там, я помню, у нас пропало два солдата, комендант решил, что их чеченцы украли, и мы поехали в Г. На нескольких БТРах заехали, чтобы требовать наших солдат обратно. Заехали на центральную площадь, 5 или 7 машин. Через 10 минут вся центральная площадь заполнилась народом. Несколько тысяч человек, бородатые, вооруженные, хорошо вооруженные, одетые как надо. Женщины, дети, все вылезли и вышли на площадь. Они подумали, что с зачисткой приехали, им тоже не радостно. А нам совсем не радостно, потому что у нас 5 машин, а их – несколько тысяч человек. Мы спрашиваем: «Кто такие?» – «Мы не боевики. Мы не ваши, но мы и не боевики. Мы – самооборона. Нам боевиков здесь не надо, но и вас здесь не надо. Давайте, валите отсюда. Ваших солдат у нас нету». Привели какого-то начальника, главу администрации села, наверное. Мужик говорит: «Солдат ваших у нас нету, я, – говорит, – примерно могу показать, где они, поехали их искать в развалинах». У него пальцы, я помню, раздроблены были. Сказал, что боевики его взяли, они, так же как мы, приехали месяц назад, его за шкуру вытащили, в дверь пальцы клали и защемляли. И они у него все раздробленные.

Комбат разнервничался, конечно. Мы тоже все разнервничались. Комбат приказал положить несколько мин по окраинам села. Положили несколько мин и свалили. Это я сейчас понимаю, что мы делали. Конечно, Гагский трибунал по всем нам плачет, понятное дело. А тогда было страшновато, и если бы был приказ начать стрелять и разнести все село вдребезги, с бабами, с детьми, со всеми – запросто, только бы в путь. Лишь бы только выехать оттуда. Это я к тому, как эта война вообще была подготовлена, и как она велась.

Так мы искали этих солдат. Выяснилось, что солдаты сбежали, сами пришли на ментовский блокпост с пулеметом. Если б они пулемет не взяли, никто б их и искать не стал. Кому они нужны, пропали и пропали, ну и черт с ними, на боевые потери списали бы, и до свидания. А тут пулемет все-таки.

Оттуда нас перевели в Грозный. Это, по-моему, был второй штурм Грозного, 17-го января он начался. Я был в штабе при Б. – офигенный мужик, просто офигенный. К офицерам, конечно, все относились... У офицеров

была кличка «шакалы», по-другому их никто не называл, «шакалы», и все. А этот – прямо офигенный мужик. Он меня даже спросил: «Сынок, кушал ли ты сегодня?» – на что я ему отвечаю: «Нет. Никак нет, товарищ генерал». – «Ну ладно, ладно, ничего. После войны, – говорит, – поешь». – «Так точно, товарищ генерал».

Ну, штурм как штурм. Мы во втором эшелоне были, штурма как такового не было тогда, потому что Басаев ушел, они Грозный тогда не стали оборонять. Дошли мы, не знаю, докуда дошли, нам никто ничего не говорил. И тогда объявили о нашей победе, в начале декабря 2000-го. Объявили, что мы победили, Грозный взяли, войны больше не будет. Потом объявляли о нашей победе еще раз 10, наверное. Ну, тогда действительно какое-то перемирие было, на пару дней перестали стрелять.

Потом нас, кажется, перебросили под село А. Я помню там один случай. Сутки или двое, пару дней там стояли, и когда нас приехали сменить, мы выезжаем оттуда, проезжаем по окраинам, и нас оттуда обстреляли. И мы в ответ тоже начали стрелять, естественно, и распетрушили окраинные дома в селе. Вызвали БТРы, те раздолбали окраинные дома. Уехали оттуда, потом я дня через два вернулся, все еще связным был. Выяснилось, что когда мы начали стрелять, то убили старика 80-летнего и девочку, по-моему, 12-ти лет, совершенно случайно, снаряд пробил стену дома, и они там погибли. Я совершенно точно знаю, что не я их убил, моей вины в этом нет, но, тем не менее, я там стрелял тоже.

Потом нас вывели на блокпост. Приехал командир другого взвода, у нас с ним хорошие отношения сложились. Я говорю: «Не хочу я в этой пехоте, давай, забирай меня к себе». И он пошел, выкупил меня у командира роты за две банки тушенки, и я перешел к нему в гранатометный взвод. С этим гранатометным взводом мы простояли неделю на блокпосту, а потом в горы перевезли нас первой вертушкой. Привезли, высадили, потом эта вертушка возвращается, забирает 9-ю роту, и эту вертушку обстреливают. Я помню, она приземляется, а она известная была на всю Чечню, т.к. была единственная белая. Она возвращается, садится, открывается дверь, выходит Старый, мой друг по 9-й роте, не дожидается, когда борттехник приставит лесенку. Дверь только открылась, он оттуда выпрыгивает, становится на колени, и давай землю целовать. «Старый, ты что?» – а он «ни бе ни ме» сказать не может, белый такой: «Бебебе, посмотри» – на вертолет мне показывает, я смотрю, по всему вертолету, от начала и до самого хвоста, строчка пробита через весь вертолет, и две лопасти оторваны, то есть их где-то обстреляли в

горах. Летчики сказали: «Ребята, на этом вертолете летать нельзя, мы вам оставляем его под охрану». Вызвали другой вертолет, сели и улетели. Ну, вот, нас 200 человек в этих горах, вертолет, на который они еще подсветку поставили и сказали нам: «Охраняйте». Мы стоим, думаем: «На фиг нам вертолет? Тут кругом одни чеченцы. А он исправный. Только лопасти поменять надо. Такая радость вертолет им захватить».

Оттуда поехали на блокпост. Там постояли неделю, может две. Там у нас был Аркаша. Земляк и тезка ко всему прочему. С Аркашей у меня отношения не складывались, потому что он сволочь редчайшая. Барабана все время бил, а сам наркоман и бывший мент. Барабан – это парень. Все время он его гонял. У нас считалось, что это – крайне западло, потому что мы, контрактники, были сами по себе, а срочники – сами по себе. Дедовщина там у них есть, безусловно, но мы туда не лезли, мы в их дедовщину не вмешивались. А если контрактник начинал наводить дедовщину и гонять молодых, то это очень, очень нехорошо считалось. А он его гонял. 38 лет ему, кажется, было, он себе скостил возраст, он говорил: «Мне вся эта ваша война на фиг не нужна, у меня денег столько, что я всю Чечню вашу могу купить полностью со всеми потрохами. Я – опер, в ментовке работал, взятки набрал столько, что мне вообще ничего не надо. Но, – говорит, – на меня ДСБ, департамент собственной безопасности, дело начал за взятки, я и свалил сюда, мне медаль нужна, чтобы под амнистию попасть». Вот он за медаль там и воевал. Сволочь, мент и наркоман.

Помню, просыпаемся там как-то, я глаза открываю, смотрю, человек стоит, привязанный к дереву. Я говорю: «Это кто?» Говорят: «Пленный, пленного взяли. Аркашенька пленного привел». Я говорю: «Какого пленного?» А по «пленному» видно, что он – никакой не пленный. Тоже нарек убитый, конечный, возраст неопределим, трясется, у него ломка, ему плохо. Аркаша стоял на блокпосту, видит, через мост идет это тело. Спросил: «Ты куда?», тот говорит: «Я к брату, за дозой иду, мне срочно надо, у меня героин кончился, у меня ломка начинается». Говорит: «А где твой брат живет?» – и начинает его раскручивать, чтобы пойти у брата героин отобрать, потому что он сам наркоман и колется. Берет его за шкуру, приводит к нам, привязывает к дереву. А дерево такое кривое, не знаю, как он там стоял, всю ночь там простоял привязанным. Потом Аркаша говорит: «Пойдем его расстреляем». Я говорю: «Я не допущу». У нас тогда чуть до перестрелки с ним не дошло, очень сильно с ним поцапались, но я расстрелять этого человека не дал, потом мы все-таки вызвали комбата, отдали этого человека комбату, он куда-то его увел, и что с ним дальше было, я не знаю.

Пока мы там стояли, нам в очередной раз объявили полную победу и решили нас выводить с гор. Наш командир полка – тоже трус, сволочь и алкоголик. Поехал разведать дорогу, а мы зашли в село Ш., просто пошли посмотреть, ну, мародерка. Раскладушек нам надо было набрать, теплого белья, потому что зима, а жили в горах – ни блиндажа, ничего, просто на снегу спали. Заходим в первый дом. А там чеченец молодой сидит и перекладывает мину. «Здорово, пацаны» – и мину дальше перекладывает. Мы, такие офигевшие, говорим: «Сейчас мы тебя, – говорим, – будем убивать, ты есть боевик, мы тебя есть расстрелять». А он нам: «А, бросьте, я не есть боевик, я есть учитель, вот здесь у боевиков был укрепункт, вон, первый дом». И они этот дом действительно хорошо укрепили, подвал там, много боеприпасов осталось. «Я сейчас учитель, да, в первую войну воевал, а фамилия вашего командира полка, не Д-ов ли случайно?» Мы, вообще, ошалевшие – ну, вроде как армия, российская армия, а тут сидит какой-то парень, перекладывает мину, называет нам фамилию командира нашего полка. «Да, – говорим, – Д-ов». – «Ну, – говорит, – передайте ему привет, в первую войну как раз здесь я с ним воевал, он здесь весь батальон положил, так что вы с ним аккуратней. А сейчас я не воюю, я учитель, эти парни ушли, и мин после себя много оставили, и я их хочу утилизировать к чертям собачьим, чтобы не взорвались. Пацаны бегают, чтобы не подорвались». Вот, мы с ним сдружились, расстреливать его не стали, сигареты ему оставили, еды оставили. Хороший парень был, молодой, кстати, лет 27 где-то, 30. Доложили, конечно, командованию, что обнаружен склад боевых припасов, все дела, там до фигища было боевых припасов. Потом, года через два, телевизор смотрю: показывают наш склад, показывают все эти мины, которые учитель перебирал: «В результате спецоперации, проведенной доблестными войсками спецназа, обезврежено–добыто–уничтожено...» Ля-ля-ля-тополя, что уничтожено? Два года назад, что вам говорили? Придите, возьмите!

Вот, значит, этот Д-ов поехал проведать дорогу. Поехал, проведаль, и его там обстреляли. И он от большого ума – ведь он товарищ полковник, ум большой, значит – посылает один взвод пойти посмотреть, кто его обстрелял: «Вон с той сопки меня обстреляли, идите, посмотрите». И этот взвод идет на сопку, а там полторы тысячи с Хаттабом во главе. Они туда подошли и увидели, что у тех там укрепрайон, но ждали нас со стороны равнины, все было подготовлено на случай, что мы придем с другой стороны. Мы пришли с тыла. И этот взвод туда заходит, ну, его там почти весь и кладут.

Игорь, земляк, мой лучший друг, вот Игорь как раз там погиб. Мы с ним познакомились еще в военкомате, здесь, в Москве. Лучший мой дружище. Нас три земляка, три москвича было на весь батальон. Вот он там и погиб. Подобрался на 15 метров, крупнокалиберный пулемет у них там был, подобрался на 15 метров, поднялся, чтобы кинуть гранату, и в него три снаряда сразу попало. Он упал еще и граната под ним была.

Когда погиб Игорь, вот тогда у меня появилось желание изменить ситуацию. Но оно было очень своеобразным. У меня появилось желание убить сразу всех чеченцев. Всех – детей, женщин, стариков, новорожденных, всех. Я хотел их убивать своими руками. Вот это был момент, когда я сошел с ума, я помню, я уже себя со стороны видел. Это я точно помню, дня через два я к себе обратно в голову вернулся, но эту двухдневную фазу сумасшествия я помню отлично.

Весь этот взвод там кладут, ну, он снимает батальон и всех нас перекидывает туда. Три дня там идет война. Три дня там идет вонючая война. Сталинград. Это единственный раз в жизни, когда я видел такое, как в кино показывают. И единственный раз в жизни, когда я видел, что палец высунешь из земли – и металлический дождь идет параллельно с землей. Палец нельзя было поднять.

Человек двадцать из наших там, по-моему, погибло, и, соответственно, человек пятьдесят ранило. Наш снайпер 13 человек убил, отползал к ближайшим кустам, ночь лежал, днем стрелял, потом день опять лежал, потом ночью обратно уползал. 13 человек застрелил. Его представили к Герою Российской Федерации, но, поскольку на героев Российской Федерации были квоты, то героя Российской Федерации получил кто-то в штабе, а он получил орден Мужества. Три дня там была войница, в итоге мы их просто задолбали. Постоянно обстреливали, просто задолбали, они снялись и сами ушли. Не знаю как, по данным радиоперехватов, 150 человек у них были потери. Ну, ранеными, убитыми, я не знаю.

Но опять же, наши командиры, это же наши командиры, там по уму надо было пехоту отвести, просто сравнять артиллерией и все. Если уж взялись воевать, так воюйте. Я сейчас не говорю, кто прав, кто виноват, кто за добро, кто за зло, кто белый и пушистый, кто черный и плохой. Взялись воевать – так воюйте. Если вы взялись убивать людей, так убивайте их с наименьшими потерями для своей стороны. Правильно? Но в России солдат никто никогда не считал, вот и они туда три дня все лезли пехотой. И у них потери были большие.

Взяли взводного, я не помню, как его зовут, что-то его имени никто не мог запомнить, у нас были хорошие отношения. Вот он погиб. Боевики взяли его тело, потом его тело нашли. Они ему что-то на груди вырезали, «Аллах акбар», что-то такое... Но проблема в том, что взводный как раз за день до этого переписал все данные бойцов своего взвода с домашними адресами, с телефонами, и всеми делами, штатное расписание. И этот блокнотик не нашли. Данные этого взвода попали к боевикам, а тогда, вы же помните, между первой и второй Чечней людей здесь, в России, начали похищать, пытаться. Были случаи, когда приходили по старым делам, и кого грохали, кого похищали, кого еще что-то. Вот тогда, я помню, все очень испугались, начали рвать свои блокнотики, свои записи, сжигать все адреса. У меня тоже с тех пор ни одного адреса не осталось.

Три дня там воевали, потом мы победили в очередной раз, и нас вывели. Сказали, все, теперь войны больше не будет. Начали заниматься строевой подготовкой, подшивкой воротничков, всякой фигней. В итоге мы подняли бунт, сказали, давайте, либо на войну, либо домой. Нам опять надавали пинков, но в итоге отправили домой. Меня с первой партией отправили, потому что я там бузотерить начал, подбивать всех на бунт и на все такое. Мы же имеем право, у нас в контракте записано: «имеет право расторгнуть контракт в любой момент», то есть прямо во время боя бросаешь автомат, говоришь, все, я расторгаю контракт – и тебя обязаны отправить домой. Многие так и делали. Оттуда нас перевели в Калиновскую, и из Калиновской начали увольнять. Уволили, я был в первой партии, за что опять же спасибо комбату, мне повезло.

Элла, 71 год

На нас нахлынула волна человеческого горя, ужаса и возмущения, прибежало человек по 200 в день, люди не понимали, что делать, если сыновей отправляют на войну в Чечню. Наша первая задача была – успокоить людей, разобраться, что происходит, второе – как-то помочь им сориентироваться. Конечно, в это время нам очень помогло, что американские священники привезли целую машину книг – это была Библия в черном дерматиновом переплете. А я даже не знала, где эта Чечня, никогда не встречала чеченца за свою взрослую жизнь. Мы сделали карту Чечни. Библию раздавали родителям и говорили: «Ваш сын там. Езжайте, забирайте его». – «А как?» – «Подумайте, как. Вы же хотите спасти сына. Вот берете и спасаете». И люди это делали.

А потом я подумала, что отправляю людей неизвестно куда, надо и самой тоже съездить, понять, что это такое. 23 февраля в Москве собрали все правозащитные организации, комитеты солдатских матерей. А мы с 91-го года учредились, мы никогда себя не называли комитетом, а всегда – правозащитной организацией, мы – организация гражданская. Мы в Москве приняли участие в съезде, и миротворцы там были, и договорились остановить войну.

Была такая легенда, если двое мужчин дерутся, а женщина бросает платок, белый платок к их ногам, то драка останавливается. Мы тогда решили провести акцию «белый платок». Вернулись каждый в свой город, мы – в Петербург, взяли белые полотнища и пошли на Дворцовую площадь. Люди расписывались на этих платках, надо сказать, что и военные подписывались, в общем, было все по-человечески. Потом разработали маршрут от Кремля до Грозного – проехать с этими белыми платками по всем городам, где в госпиталях лежали солдаты. Я тогда не поехала, а отправила матерей, у которых сыновья были в Чечне. Они взяли наши транспаранты, наши флаги, платки и поехали, от Кремля проехали по этим городам.

В это время к нам пришел отец, сын которого, онкологический больной, со всеми документами был в Грозном, и пришла мать, у которой сын служил в Южной Осетии, и он должен был уже демобилизоваться, но его вместо этого отправили в Чечню, и он пропал. Она говорит, что сын пропал, но из Чечни и из Ингушетии позвонили журналисты и рассказали, что видели в Чечне ее сына живого, чтобы она не теряла надежду. Мы тогда обсудили ситуацию, и я поехала с этими родителями, хотя бы для того, чтобы понять, куда я отправляю людей, узнать маршрут, понять, где опасно, где нет. Мы взяли билеты на самолет, прилетели в Минводы, там наняли машину с чеченцами. Они были бизнесменами за границей, война грянула, для них это был шок, они не знали, живы ли их родственники.

К тому времени выяснилось, что больной мальчик был отправлен из Владикавказа через «Спутник». «Спутник» – это воинская часть типа Каменки во Владикавказе, где много безобразий, откуда и сейчас отправляют войска в Южную Осетию. Отец поехал туда. Он рассказывал, что пришел к начальнику штаба, показал документы о том, что его сын – онкологический больной, который оказался на войне, его посадили на БТР, привезли в Грозный, отдали ему сына, он с ним вернулся. Это было без меня уже.

А мы с мамой второго парня приехали в Назрань и стали беседовать с людьми. Я увидела в Назрани президентский дворец, площадь такая и завод, а в подвале завода расположился Ингушский комитет солдатских матерей.

Самое интересное, что в Назрани было много журналистов. Они встречали солдат и привозили важную информацию из Чечни. Если им надо было что-то сообщить родителям, они приходили в комитет солдатских матерей, а там с этой информацией ничего не делали. Я попыталась все как-то организовать, но мне ФСБшники сказали: «Вон из Ингушетии, иначе вам будет худо».

Мы с этой мамой пошли в пресс-центр Ингушетии, где тоже скапливалась информация. Я рассказываю историю о том, что ее сын где-то пропал на войне, поворачиваю голову, она стоит за моей спиной, и у нее слезы рекой. Я говорю: «Что случилось?». Оказывается, услышав мой рассказ, к ней подошли чеченцы и молча сунули в руку деньги – она показывает. К этому времени в пресс-центре выяснилось, что журналисты едут на машине в село, где видели сына. У них в машине было только одно место, поэтому мы решили, что туда поедет она. Когда она приехала в село, сына там не было, потому что чеченская семья, которая подобрала раненого, привозила его только показать, и возвращалась в Грозный. Тогда мать поехала в Моздок, там был военный штаб, чтобы узнать, где ее сын. Она пошла к военным, и ей назвали район, где видели ее сына, и она отправилась туда. Идет пешком, навстречу мальчишки-чеченцы, она говорит: «Я ищу сына». Фамилию назвала, ей сказали: «Идем туда». Она пошла с ними и увидела, что ее сына ведут двое молодых чеченцев, оказалось, что это уже побратимы.

История была такая. Ребят бросили в первый бой, в Грозном в новогоднюю ночь. Был туман, не было ни карт, ничего, они были абсолютно не готовы. Мальчика ранило, ну, легко ранило, он упал, все ушли, и его бросили. Чеченские жители подбежали, утащили его в дом, потом пришли в этот дом чеченские боевики и спросили, «убивал ли ты наших» Он говорит: «Нет, не успел». Они говорят: «Ну, тогда возвращайся к своим, ты нам не нужен». А он говорит: «Я не могу вернуться». И тогда чеченка усыновила его и стала подавать сигналы его матери сюда, в Питер. Они в Грозном тогда очень боялись 23-го февраля, потому что ожидали, что 23-го февраля всех чеченцев уничтожат. И так как на сигналы мать солдата не реагировала, семья оформилась как беженцы, а этого мальчика записали как сына. Ужас этой семьи был в том, что российские военные убили ее старшего сына. Вот она, взамен убитого, его усыновила. Она отдала его настоящей матери, и они вернулись домой.

Потом было много разных историй. Когда я вернулась, у меня была задача организовать людей, протестовать, шуметь. Была еще, например, такая история. Первая чеченская война была такой, что ни жители России, ни жители Чечни не признавали эту войну, не было вражды друг к другу, и было много

разговоров о том, что чеченцы различали, что такое солдаты, а что такое Кремль, и спасали солдат, потому что солдаты были голодные и униженные.

В России был организован материнский марш против войны в Чечне, и этот марш дошел до Назрани. Я прилетела на этот марш в Назрань и там, в Доме культуры, увидела полный зал людей. Там были, кроме матерей, буддисты, они разработали декларацию ненасилия. Мы приняли декларацию, и у каждого был этот текст, который говорил о том, что мы идем в зону боевых действий, в зону насилия, но в ответ на насилие, если его будут к нам применять, мы не ответим насилием. Это была очень сильная декларация. К тому времени Дудаев прислал письмо российским властям, просил остановить войну. В Назрань, где мы собирались, подъезжали со всей России родители, чьих сыновей убили, и они знали об этом. Было несколько буддийских священников, монахов и миротворцев, они были в желтых одеждах, с бритыми головами, они били в бубны. Когда мы сели в автобусы, чтобы ехать дальше, то увидели, что среди нас есть провокаторы. Мы их выгоняли из автобуса, а их к нам снова подсаживали. Из Назрани на машинах и автобусах мы доехали до КПП. А потом нас завернули, там дорога идет прямо на Грозный, а нас завернули на Серноводск. В Серноводске жители нас разобрали по домам. Когда мы приехали, митинг там устроили, люди плакали и говорили: «Спасибо, что вы пытаетесь остановить войну, мы ждем этого. Мы граждане России, мы не понимаем, почему с нами воюют, почему нас убивают?» Я помню, в чеченском доме стояло ведро с водой, и когда мы уходили, хозяйка говорит: «Загляните в ведро». Я говорю: «Зачем?» Она говорит: «Это такая примета, чтоб вернуться живым». Из Серноводска мы пошли пешком.

К этому времени на войне погибло много журналистов. Двое питерских журналистов, Феликс Титов и Максим Шабалин, там пропали, и у меня было поручение попытаться найти журналистов во время этого марша. Они были очень смелые. Феликс был фотокорреспондентом. Тогда у нас выходила газета «Местное время», где они писали хорошие статьи. Я шла с фотографиями журналистов, и как у католички у меня был плакат с изображением Богородицы с младенцем на руках и надписью «не убий». Я шла с этим плакатом. Мы вышли из Серноводска, и буддисты били в бубны. Мы вышли очень рано, была хорошая погода, тепло было. Когда подошли к границе, в основном в колонне шли российские отцы и матери, а ингушских и чеченских мужчин мы попросили с нами не идти, потому что им там было опасно. Был приказ, который объявляли при отправке в Чечню военных из России, стрелять по всему живому, никого не жалеть, забирать мужчин от 10 до 60 лет, это нам свидетельствовали солдаты. У нас было, наверное, 7 машин и автобусов, и

наша колонна шла. Но мы были плохо организованы. Последние машины отсеки военные на КПП, а в них в основном были чеченские и ингушские женщины. Потом мы нашли их в больнице. Оказывается, их положили в грязь, а был март, стреляли над их головами из автоматов, говорили: «Вот вам за Вильнюс». Оказывается, это были те же войска, которые в Прибалтике подавляли и расстреливали демонстрантов.

Но мы об этом не знали, мы шли, прошли через Самашки. Когда мы подходили к Самашкам, на наших глазах вертолеты обстреливали село, стреляли по домам. Мы подходили к Самашкам и видели, что там лежат трупы коров, других животных, какие-то странные мешки, то ли мины, то ли что, вдоль дороги. И вот мы вошли в Самашки. Люди к нам бежали, несли чеченский хлеб, плакали, благодарили, что мы пытаемся остановить войну.

Перед Самашками было КПП российских военных, и они остановили колонну. Переговоры с нами их шокировали. Я еще по Прибалтике знала, что военные – это люди, привыкшие к насилию, и когда им отвечают тем же, им это понятно, они к этому подготовлены. Но они всегда были шокированы, когда, например, в Прибалтике или в Чехословакии им гвоздики давали, в Прибалтике молились безоружные люди. Ненасилие их шокирует. А тут мы с нашей декларацией ненасилия. Они не знали, что с нами делать. Когда велись переговоры, я пошла в окоп, где были солдаты, совершенно замордованные, и там тоже разговаривала с военными, объясняла, что это вообще несправедливая война. Мы двинулись дальше, и нас остановили перед Ачхой-Мартаном. Получилось так, что вон там чеченское село, здесь поле, стоят танки, тяжелые танки, дорога, нас ждут чеченские жители, а нас остановили и окружили солдатами. Солдаты сели за руль наших автобусов и отогнали их к танкам.

Это был длительный переговорный процесс, мы пытались беседовать с солдатами, офицерами. Я помню молодого симпатичного офицера, блондина прибалтийского типа. Он говорил: «У меня руки по локоть в чеченской крови, я их буду убивать и убивать». Откровенно говорил. Я подошла к танку, а там рация – стала объяснять, что мы идем с миром, пропустите. В ответ пьяный офицер только – как собачий лай был – ругался. Потом я подошла к чеченцам, взяла у них чеченский хлеб и стала эту цепь солдат обходить, говорить: «Что вы здесь делаете?» Некоторые солдаты молча стоят и плачут.

Потом стемнело, и я с этим плакатом «не убий» стала молиться. С нами было много журналистов – из Associated Press, челябинские телевизионные журналисты. И когда стемнело, то из тяжелых танков – вот эта наша колонна – стали обстреливать Ачхой-Мартан. И пошли трассирующие снаряды.

Расчет военных был, видимо, на то, что в ответ чеченцы расстреляют нас. И тогда они растреляли, что вот, звери-боевики расстреляли российских матерей и отцов. А я в это время стояла на коленях, молилась. И я увидела, что над Ачхой-Мартаном поднимается просто салют, ракеты. Не снаряды, а ракеты. Салют обычный. Ну, чеченцы же знали, что происходит.

Все это время было сильное напряжение, буддисты били в бубны. Знаете, это нас поддерживало. Вот, казалось бы, рано встали, такая тяжелая дорога, столько эмоций – а усталости никакой не было. И вдруг этот буддистский барабан смолк. Я повернула голову и увидела, что из темноты какие-то громадные люди в черном подъехали на грузовиках, хватают наших буддистов и, как тряпки желтые, закидывают в машину. Они захватили буддистов и нескольких матерей и увезли куда-то. А нас окружили солдатами с автоматами – подогнали автобус наш, только за руль посадили солдат – и стали автоматами загонять в автобусы, светили прожекторами из танков и загоняли. И колонну повезли непонятно куда. И меня тогда поразили чеченские женщины.

Нас везли по танковым колеям, а так как машина гражданская, автобусик такой, он застревал, нас выгоняли из автобуса, а его – тросами вытягивали. БТР подъезжал, грубо дергал этот автобусик из канавы, мы снова садились и ехали. Оказалось, нас везли в Ингушетию. И как только мы проехали КПП-1 «Ингушетия», у нас уже были ингушские водители, они сделали вид, что машина испортилась, и колонна встала. И мы выскочили из автобуса, сказали: «Мы никуда не пойдём, мы в России». С нами был тогда англичанин, мы с ним побежали на КПП звонить в Президентский дворец, рассказывать о том, что буддисты пропали. И вот, стоит колонна гражданских машин, мы здесь рядом, и стоят где-то 7 БТРов. И мы никуда, с нами уже ничего не сделать. И сидит пьяный офицер в этом БТРе, ему приказано нас депортировать, ну и, наверное, женщин этих чеченских – в фильтр, а российских – выкинуть в Россию, наверное, был такой план. Но мы сорвали этот план. Пока мы вели эти сложные переговоры, вдруг со стороны Чечни появились прожектора, а темно же, видно хорошо. Мы думаем, это за нами едут. Подъезжают несколько БТРов, солдаты высказывают и говорят: «Мы приехали вас спасать от наших “гансов”» – они офицеров называли «гансами». Чеченцы много рассказывали историй, как военные низко пали, там и мародерка, и грабёж был, убивали солдат офицеры.

Мы этим ребятам сказали: «Мы-то в безопасности, а вот вы-то вернетесь домой, что будете делать? Мы стоим за себя, нам не страшно. Возвращайтесь и не убивайте никого». Потом колонна двинулась в Назрань под охраной ОМОНа ингушского, участники марша поехали спать, и ингуши,

молодые ребята, охраняли их. А мы с англичанином поехали в Президентский дворец и стали всем звонить и сообщать, что произошло, писать в прокуратуру, Генпрокуратуру заявления. На следующий день прокуроры начали с нами работать, мы писали сообщения о преступлениях, а потом устроили пикет в Назрани.

Вторая чеченская война легла на совершенно другое общество и в Чечне, и в России. Уже не было гражданского сопротивления войне. Пропаганда создала образ врага-чеченца, который торгует людьми, к этому времени была налажена торговля людьми с обеих сторон. И к этому времени к нам обратился следователь из Колпино, сказал, что ведет следствие в отношении чеченца, которого обвиняют в похищении человека, но так как в суде это дело рассыплется, то нет ли у нас солдата, на которого бы они обменяли. Тогда это еще было принято, «Миссия Лебеда» этим занималась, при Президенте России была Комиссия по обмену военнопленными. В заложниках находились журналисты, иностранцев тоже похищали. И даже рассказывали, что в Грозном была биржа, где был выставлен разный тариф на иностранцев, журналистов и солдат. Я тогда этому следователю сказала, что у нас такого нет, в то время не было таких сведений. Он говорит: «Можно я к вам пришлю отца этого чеченца, Магомед?» Приехал отец, очень приличный человек, и сказал, что его сын сейчас сидит в «Крестах» («Кресты» – следственный изолятор Федеральной службы исполнения наказаний в г. Санкт-Петербурге – *прим. ред.*), что если виноват, пусть его судят, но если он не виноват, тогда предлагаем обменять. И отец стал обзванивать своих, его жена в Грозном ходила на биржу, находила людей, которых предлагали на продажу, передавала эти сведения отцу, и он обзванивал их родственников. Ну а так как у него чеченский говор, то многие просто не понимали, в чем дело, и бросали трубку. И вот, в городе Энгельсе он нашел мать, у которой сын-солдат был в плену. Он служил во внутренних войсках в Назрани, и, по-видимому, это был офицерский бизнес, потому что солдату было приказано пойти туда, по дороге его схватили, а потом этого мальчика перепродавали.

Когда в первый раз отец позвонил, дома была бабушка, которая просто не стала разговаривать. Выяснилось, что семья парня состоит из мамы и бабушки. Во второй раз к телефону подошла мама, и когда она услышала о том, что сын в плену, у нее случился инсульт, и она упала. Ее увезли в больницу. Как только ей стало немножко лучше, вопреки указаниям врачей она убежала из больницы и приехала к нам. Она встретила с этим отцом, и они стали вместе везде ходить. Некоторые смеялись, вот так парочка, она, такая блондинка, и этот отец. Мы стали вместе думать, что делать. И мы пошли на переговоры.

Я стала вести переговоры со следователем. Он говорит, давайте обменяем, раз нашли. А мать выкупила своего сына в Чечне, и сказала ему: «Ваня, вот такая история, ты свободен, пожалуйста, можешь ехать домой, или помоги нам». Он сказал: «Я хочу вам помочь». Были предложения, чтобы обоим – Ваню и Магомеда – привезти в Москву и обменять в Комиссии по обмену на Старой площади. Я говорю: «А где гарантии, что Магомед выйдет, а Ваню не арестуют и не возбудят дело? Не выйдет». – «Хорошо, давайте тогда проведем переговоры на границе с Чечней». Я опять говорю: «А где гарантии, что военные не захватят Ваню? Мы не можем на это пойти». И в результате мы договорились, что обмен произойдет здесь. А так как у Магомеда был серьезный конфликт с ОМОНОм, они были очень недовольны и хотели воспрепятствовать обмену. Журналисты сказали, что они готовят нападение. И тактика была такая – как только Ваню мать привозит в аэропорт, Магомеда из «Крестов» привозят сюда, и здесь мы проводим обмен и подписываем акты. Мы поехали в аэропорт на нескольких машинах, картинка была такая: подлетает самолет, выходит чеченка с этим мальчиком, его мама видит своего Ваню, кидается ему на шею, а весь аэропорт был оцеплен стукачами. Мы их быстро, в охапку, кинулись в машину, только захлопнули дверь, ее дергают снаружи, пытаются вырвать у нас парня. Ну, мы все-таки уехали. По дороге я звоню следователю, говорю: «Солдат у нас, везите из «Крестов» Магомеда». Он говорит: «Я не могу. Требования изменились». И мы снова стали требовать, снова вести переговоры. Ване надо было обеспечить безопасность. Мы придумали, как это сделать. Но об этом я не буду говорить, потому что этот способ действует и сегодня. Мы ночевали здесь, потому что ожидали нападения. На следующий день Магомеда привезли, и обмен состоялся, мы подписали акты, Магомеда родители увезли, а Ваню отдали маме. Сейчас у него семья, ребенок, вроде бы все хорошо. А до обмена его могли захватить военные и обвинить в дезертирстве.

Солдат, который не вернулся вовремя в часть, сразу же объявляется дезертиром. Мы научились защищать таких ребят. Однажды приезжает из Колпино мама, сидит передо мной и говорит – уже пропаганда всю работу – что чеченцы такие-сякие: «Вы знаете, мне позвонили из Серноводска, что в плену у чеченцев находится мой сын. Они сказали: «Приезжайте, забирайте сына». Но они же, – говорит, – и меня в заложники возьмут!» Я ей говорю: «Вы мать? Вы любите сына? Даже если вас захватят в заложники, вы будете вместе с сыном. Но если вам позвонили, думаю, там нормальные люди». И она тогда честно рассказала, что ее муж и брат мужа туда уже полетели и через несколько дней мальчика забрали. Привезли. Этот парень был из внутренних войск – я

их своими глазами видела – они были грязные, больные, вшивые, голодные. Он был на хребте над Серноводском и с автоматом спускался. И упал от голодного обморока. От избиений у него была язва на ногах. Чеченцы его подобрали, лечили, позвонили родителям. Когда отца с мальчиком везли в аэропорт, автоматчики-чеченцы охраняли их, посадили в самолет и уехали.

В 1995 году мы готовили доклад для Комитета против пыток. Россия как раз отчитывалась в ООН, в Комитете против пыток – этой осенью будет очередной такой отчет России, мы готовимся к нему тоже. И вот тогда, в 95-м году, в разгар войны, в официальном отчете Министерства иностранных дел России пишут о том, что в России достигнута гармония в отношениях между народами. Мы в Петербурге провели совместную конференцию, с первых дней войны мы познакомились с чеченской диаспорой здесь. Мы провели конференцию и опросили свидетелей – журналистов, мирных жителей Чечни, солдат федеральных войск, обработали эти материалы в виде доклада, который как неправительственное сообщение представили в Женеву в ООН – параллельный докладу официальному. И туда полетели, с нами полетели чеченки, одна чеченка была из Самашек, мы рассказывали факты членам Комитета. Нам помогали квакеры. Чеченку из Самашек, свидетельницу военных преступлений, не выпустили из страны в аэропорту Шереметьево, потому что у нее был советский паспорт.

Это был интересный опыт. Нам позвонили члены Комитета и просили подготовить вопросы, которые им следует задать Правительству России. В Женеве, в громадном зале, сидит делегация России, отчитывается, как они борются с пытками, здесь же члены Комитета по пыткам, секретари, стенографисты, мы тоже присутствуем. И студенты на галерке. И когда наши чиновники нагло, не стесняясь нас, говорили, как все у нас хорошо, каково было чеченкам это слышать? Это был просто ужас. Мы во время сессии выступать не могли, но в перерывах мы разговаривали с участниками и показывали документы. Потом нас с чеченками пригласили на Марш Мира, миротворческий марш в Италии. Там я выступала и просила прощения – а делегации там были от многих стран – я просила прощения от имени России за то, что натворила наша армия в Афганистане, Чечне, Карабахе, Прибалтике, для меня это тоже было важно. Потом был организован Speaking-Tour по странам Европы. Мы побывали в Европарламенте, там обо всем рассказывали и показывали, потом выступали в Париже в Парламенте и перед общественными организациями. В Лондоне нам устроили слушания в Палате общин, потом была встреча в Палате лордов, были также поездки в страны Скандинавии. Я просила грантодателей разрешить нам отдать часть денег пострадавшим

чеченским семьям. Вместе с грозненским «Мемориалом» мы разработали план действий. Мне в Чечне уже опасно было находиться. В это время в Грозном, в «Мемориале», заработал проект «Без вести пропавшие». Были адреса семей, где родителей – обоих или одного – убили военные, и они считались пропавшими без вести, а такие семьи государством никак не поддерживаются, даже если там много детей. И – сироты. И мы разработали проект, список жителей Грозного, а так как это было летом, перед школой, то грозненцам важно было купить детям форму. По списку, подготовленному «Мемориалом», сотрудники пошли вместе с этими людьми на рынок, и люди купили детям, что нужно для школы. Для людей такой подарок был полной неожиданностью. А потом мы с Катей поехали на грозненский рынок и закупили, по инициативе ребят из «Мемориала», продуктовый набор – мешок муки, килограммов 50, мешок сахара, 25 литров растительного масла, чай, крупа еще какая-то. И эти продуктовые наборы стали развозить. Потом мы с председателем грозненского «Мемориала», которого вскоре пришлось срочно вывозить из Грозного, потому что его преследовали, поехали в интернат для сирот. И мы увидели ужасное здание, совершенно неухоженное, ребята и подростки, уже взрослые, некоторые из них уже семьи образовали, и чечено-русские, и русские. Среди них были ребята, больные туберкулезом, – и они пытались выживать, найти работу, но работы никакой не было, и они бедствовали. Мы им привезли эти продукты тоже. А потом наняли машины и на двух машинах развезли продукты по селам. Приехали в третье село, там бабушка с дедушкой и много детей, я говорю, мне стыдно, что так мало привезли продуктов. Дедушка говорит: «Вы знаете, мы так много пережили, в 44-м году мы траву ели. А сейчас, говорит, не страшно». Такое вот мужество, такой достойный дедушка.

А дальше начались последствия этой войны, страшные для России, потому что война расползлась во все воинские части, пошел «чеченский синдром». Приходил к нам после первой чеченской войны настоящий фашист. «Поддержите меня на выборах, солдатские матери, я чеченцев убил, сколько волос у меня на голове». Потом он расклеивал листовки на тему «бей пришельцев», «убивай пришельцев», не знаю, что с ним дальше случилось. Последствия войны страшные, армия просто уничтожена этой несправедливой войной. У нас внутренние войска выросли за это время, войска террора, это тоже страшная ситуация. Через Чечню прокатили миллионы людей – и моряки там были, и морпехи, все там были. Всех запачкали кровью.

Али, 22 года

В первую войну село не разрушили, все подумали, что во вторую войну тоже пронесет. Приехали к нам беженцы, привезли свою одежду, вещи, скотину. Было до такой степени много людей, просто деваться некуда. Мужчины в подвале не жили, они жили в домах. Мама поднималась в дом, чтобы нам приготовить еду. Но нужно было много готовить, потому что было много людей, детишек много было. А мы в подвале сидели.

В селе были пожилые люди одинокие, мы за ними ухаживали. Когда война началась, мы их к себе забрали, они жили у нас. Мы жили все вместе, до того момента, когда нам сказали, чтобы мы покинули село.

Мы поехали в соседнее село, там мы жили девять месяцев. Потом нам сказали, что можно в село к себе вернуться обратно. Мы вернулись в село, думали, что все нормально будет. Началось именно там. Вернулось всего лишь несколько семей. Село огромное, в одном конце мы живем, в другом конце другие, в третьем конце третьи, быстро добраться друг до друга было невозможно. Мы в подвале жили. И мы с собой скотину, конечно, забрали обратно в село, а у нас коровы были, овцы, куры.

Начались зачистки, бесконечные зачистки. Это во вторую войну. Мы в подвалах сидим и вообще не выходим оттуда. И мы слышим, как трясет землю – бум! – и все сыплется на нас. Это уже бомбили наше село. Потом забегают родители, мама забежала, села рядом с нами. Это продолжалось минут десять, нас бомбили, бомбили, бомбили. У родителей моей мамы – они в другом конце жили, но их дома не было – есть подвал из бетона, решили, что там лучше будет. Когда все успокоилось, мы туда перешли. Мама и папа каждый вечер и утро ходили домой, смотрели, что и как, им нужно было покормить скотину, кур. Они не выпускали их, внутри держали. На этот период мы, дети, оставались одни. Там одна женщина была, она больше нас боялась. Она вообще, чуть что, из подвала не выходила. Когда родители куда-то уходили, мы выбегали, нам хотелось выйти, посмотреть, что к чему. Мы находили осколки, патроны всякие разные, и мы все это собирали, играли. Я помню, мы находили какое-то оружие, которое ставят на плечо и стреляют, я не знаю, как называется это оружие. Потом родители однажды нас застали в тот момент, когда мы вышли из подвала, и они на нас сильно разозлились. Угрожали: «Если еще такое повторится, мы вам устроим». Прошло две недели, все еще бомбят – и разбомбили наш дом и почти всю скотину уничтожили.

На следующее утро я должен был повести скотину, которая осталась, на водопой, на речку. Рядом воды не было. Вот я иду на речку, и там вижу маши-

ны военные, люди с бородами. Но я не понимал, кто они – русские или чеченцы, русские – это солдаты, а чеченцы – боевики. Я понял, что-то не то, и бегом обратно. Я маме рассказал, она говорит: «Хорошо, я сама пойду за скотиной». Они начали жить у нас в селе. Были свободные дома, они туда заселились и там жили. Они жили недолго, одну неделю. Но они нам помогали, еду давали. Мама им готовила лаваша и носила. Однажды, когда Шамиль Басаев к нам приехал, он в доме у наших родственников остановился, их в это время не было. И папа говорил: «Лучше пусть останавливаются в домах, они с русскими заодно. Это политика, они заодно. Если они там будут жить, дома не будут бомбить». А бывало действительно так: пролетали самолеты, бомбили пустые дома, но не те, где боевики жили. Вот так как-то получалось. Поэтому отец разрешил им зайти в дом нашего родственника. Я помню, как мама меня послала с несколькими лавашами, чтобы я отнес. Меня встретил этот Шамиль Басаев, такая борода у него была. Я знал, что это Шамиль Басаев, потому что все об этом говорили. Мама тоже говорила: «Шамиль нас спасет». И я тоже думал: «Какой красавчик». Отнес, он вышел, взял и ушел, ничего не сказал, хотя у нас принято «спасибо» говорить. А этот ничего не сказал, просто взял, как будто я ему обязан был хлеб носить. Я маме говорю: «Мам, мне он не понравился. Спокойно взял, ничего не сказал в ответ». – «Да Али, ты знаешь, – говорит, – такое время сейчас, что не до тебя. У него военные планы, ему нужно выиграть войну. А ты еще с этими словами».

Потом они уехали. Когда они уехали, началось самое интересное, потому что начались повторные зачистки. Боевики уже уехали куда-то. Сначала прошлись, но эти были более добрыми. Они были маленького роста, то есть это были солдаты. Как мы их различали – солдаты были маленькие, восемнадцатилетние, девятнадцатилетние пацаны, которых вынудили пойти на войну. И у них автоматы были больше, чем их рост. Мама им тоже лаваша готовила и отдавала. Они говорили: «Ой, спасибо, тетя. Спасибо, вы такие добрые». Они у нас в селе были. Первые были солдаты. Мы нормально жили, пока нас не бомбили. Мы ходили гулять, играть с ними. Я к ним в часть ходил, у них лагерь был, палаточный городок, где они все разместились. И мы к ним ходили, они мне свою еду давали, а я им лаваша нес. Ну, нормально было, и мне интересно в то время было, очень интересно. Это был 98-й год, или 99-й, то есть девять лет мне было. Они уехали.

После того как они уехали, приехали контрактники. Стучатся в дверь, мама открывает, и отлетает обратно, от двери. Мы все вскочили, я не понял, что произошло. И они начали избивать всех нас подряд. Папу сразу на колени поставили: «А ну-ка лежать», все такое, ругаются, мама лежит, вообще не

двигается. И начали нас бить. Непонятно, что происходит. Нас бьют, старшая сестра кричит, дети плачут, а я в семье был самый младший. Нас было пятеро, я самый младший. Я выскочил оттуда и убежал. Потом я слышал там выстрелы, крики, я убежал в сарай и спрятался. В сарае была тумбочка, там сено было. Я под это сено прятался, когда обижался на родителей, уходил и там прятался. Я слышу – крики, выстрелы. Я боялся выйти. Потом заснул, ночь была. Утром проснулся, выхожу из сарая, иду в подвал. А они там все в крови лежат. Все убитые...

Я не знаю, что со мной было, стресс, шок, но я вообще не понимал, что происходит. Я подошел к ним, каждого начал трогать, как бы пытаюсь разбудить. Я примерно понимал, что такое смерть, и я понял, что они все...

Я знал, что в конце другого села живут наши, ну, не родственники, но друзья, мы помогали друг другу. Я решил туда пойти. Когда я добрался до них, там никого не было. Потом я не знал, куда деться, я вообще никого не находил, я один остался в селе.

Потом я пошел обратно домой, одна женщина вышла покормить собаку, она не знала, что происходит. Она идет, у нее в руках лаваш, я стою, увидел человека, такое облегчение, что есть кто-то еще живой. Она у меня спрашивает: «Ты куда, что случилось?» Я ничего не ответил, просто пальцем показываю на наш дом. И понял, что она слышала ночью выстрелы. Я ее отвел туда. Она кричит, орет, плачет. Потом она взяла меня к себе, и не знаю, каким-то чудесным образом я отключился полностью. Проснулся на следующее утро, они уже всех похоронили, я их не видел, я находился у той женщины, которая меня забрала.

Я пытался что-то сказать, но не мог. Просто потерял дар речи, не мог разговаривать. Она меня спрашивает: «Ну, как это произошло, кто это был, что это было?» – я пытался сказать, но у меня не получалось. Потом нам дали «зеленый коридор», так они это называли. Она вошла, говорит: «Нам дали коридор, я тебя отведу к твоим родственникам». И она меня отвезла к бабушке.

Где-то два–три месяца я вообще не разговаривал, я сидел и тупо смотрел в одну точку. Вот так сидел и кивал головой. Бабушка, каждый раз, когда меня видела, подходила, плакала. А у меня ни слез, никаких эмоций. Просто у меня все время перед глазами эта картина. Я не понимал, что произошло, но я понял, что больше их нету. Что мне придется жить с этим дальше. Я не знал, почему я спасся. Теперь, когда вырос, я об этом много думаю.

Война идет. Бабушка, я и дедушка, мы втроем жили. У меня бабушка – народная целительница, она людей лечила. И к ней начали приходиться и воен-

ные, и жители мирные, чтобы она посмотрела, что с ними. А ел я только из рук бабушки, больше ко мне никто не подходил, я не подпускал. Потом опять начали бомбить село, и от осколка умер дедушка. Мы с бабушкой одни остались. Мне десять лет было. У бабушки тоже депрессия, тоже мало разговаривает, у нас в доме никто практически не разговаривал.

Я не молился, ничего, а бабушка молилась. Потом приехали дядя и двоюродный брат, который со мной играл. Они приехали и как-то меня поспешили вытащить на пятничную молитву. Повели в мечеть. И мы намаз сделали. Когда выходили, подъехал уазик, там трупы лежали. Очень много, друг на друге лежали. Это были боевики. Их нужно было похоронить. Нужна была помощь, то есть нужно было что-то отнести, что-то принести, выкопать яму. Меня повели на кладбище, и там мне показали: «Вот твои родственники, твои братья, твои сестры, твои родители, вот они», и дедушка тоже рядом с ними был. И мне стало плохо, меня отвели домой.

Я думал, если бы я встретил тех людей, которые в ту ночь к нам зашли, я бы их всех перебил, они все такие сволочи. Я думал, нужно убивать всех русских подряд, я бы убил всех подряд. Потому что я на тот момент не понимал ничего, я понимал только, что родителей убили именно русские, и все русские плохие, и всех можно убивать. Редко кого ты из мирных жителей встречал русских, и в Ингушетии, и в Чечне – только военные русские, поэтому у меня такие ощущения были. Я, сидя молча, думал, анализируя все происходящее, почему так произошло. Я еще думал: почему за мной никто не побежал, когда я убежал оттуда? Их было много, они могли за мной побежать. Они даже не стреляли в меня. Может, они сначала не хотели нас убивать? Потом там что-то пошло не так? Может, отец что-то сказал, что-то предпринял, когда начали бить детей. Я не знаю, если бы я там остался, я, скорее всего, был бы мертв. Я-то всего несколько ударов получил от одного. Ботинки, вот такие ботинки были. Нефтью от них несло ужасно. Бывает так, новую обувь купишь – а она нефтью, нефтепродуктами пахнет. Этот запах я до сих пор помню.

Я думал, что всех, не только русских, всех немусульман можно убивать. И я радовался, когда по телевизору передавали, что рядом с нашим селом уничтожена целая дивизия, я так радовался. Я радовался всему, что против нечеченцев, немусульман происходило. Всех иноверцев нужно убивать, они все в ад попадут, они плохие, они твари такие... Конечно, я сейчас все понимаю, но тогда, на тот момент, может, это было нормально, что я так думал, я не знаю просто...

После этого мы решили уехать в Ингушетию. Меня возили по всем больницам, по всем врачам, я еще не говорил. Какие-то странные звуки были. Это

последствия стресса были, потому что я понимал, осознавал все, но картина перед глазами была, и говорить я не мог.

Я сидел перед телевизором, смотрел телевизор, много смотрел. В новостях передают – кого-то там убили, кого-то тут убили, я уже четко понимал, какие стороны друг против друга воюют. «Наведение конституционного порядка», они говорили. Я был только за боевиков, потому что я не хотел Российскую Федерацию, потому что я столько натерпелся от них, от этой власти. Поэтому я к ним очень агрессивен относился, я просто их терпеть не мог, когда на русском разговаривали, я понимал, что это нужно, потому что только на русском можно общаться между собой. Но я ненавидел этот язык, потому что люди, которые пришли, были русскоязычные, хотя, может быть, они не русские были, может, другой национальности были. Я не знаю. Просто, когда к нам зашли, они разговаривали на русском. И из-за этого я и русский язык ненавидел, и всех русских, всех нечеченцев, даже ингушей, иногда бывало так. Ну, потом со временем, когда взрослеешь, ты по-другому смотришь на все это.

Потихоньку все же я начал говорить. Меня отдали в школу. Там была чеченская школа и ингушская школа, где ингуши и чеченцы учились. Это было где-то в 2001-м или в 2002-м году, если меня пытались в седьмой класс отдать. В чеченскую школу меня не взяли, потому что там слишком много было детей, мест не было. Меня решили отдать в ингушскую школу. А я русского языка не знаю, вообще, много чего не знал, у меня пробелы. И все ученики смеялись. Я прихожу домой, бабушке говорю: «Я больше в школу не пойду, там надо мной смеются». Она начала мне лекцию читать, что это неправильно: «Надо учиться, мы с тобой одни остались, ты меня должен на старости лет кормить». И я потихоньку стал подтягиваться, начал нормально учиться. Там была учительница русского языка, которая уехала из Грозного. Она как-то меня очень жалела и со мной дополнительно занималась. В течение одного года я уже разговаривал на русском, хотя с такими глупыми ошибками, но все-таки разговаривал. Учились мы там в палатках. Потом я переехал вместе с дядей и тетей в Грозный. И я девятый, десятый, одиннадцатый класс закончил в Грозном.

Но до этого, я еще помню... Моя бабушка очень любила подснежники, такие цветы, после зимы они бывают. И я решил пойти собрать ей букет. Но это далеко от села, в лесу. И вот самолеты и вертолеты прилетели, начали стрелять, снаряды взрываются над моей головой, осколки летят – «шу-шу-шу». Я вижу, там маленькая ямка, от взрыва осталась, и решил туда полезть. Я залез в яму. Я даже не заметил, что она была окружена шиповником.

Я кое-как вылез, пришел домой весь в крови, и у меня в руках был букет подснежников. Я не выбросил эти подснежники, принес их домой. А бабушка, конечно, испугалась, меня поругала сильно: «Ты что, ненормальный? Ты почему так сделал?». До сих пор это вспоминает: «Ты помнишь, как ты ходил собирать мне подснежники?»

Вячеслав, 58 лет

В «Новой газете» появилась публикация с Зоей Ерошок, она делала со мной интервью, а публикация называлась «Не хочу призывать в эту армию». Я работаю в военкомате, деньги получаю! Меня вызвало тогда начальство, областной военком в Москве, и – ну, тогда действовали не как сейчас – более демократично, я был «афганец», и меня демократично поставили на место, то есть – «Ну ты же деньги получаешь за призыв, а пишешь «не хочу призывать в эту армию. Давай мы тебя на мобработку переведем». Мобилизационную работу. Они говорят: «Давай, вообще, не занимайся армией, уходи в бизнес или что-то еще». И тогда впервые я сказал, хотя я не собирался в Чечню ехать: «Отправьте меня туда, куда посылают моих призывников». Моя семья только что уехала в Израиль, я был один, и отвечал только за себя. Они ухватились за это, и я уехал в Чечню. В 95-м году, в октябре месяце.

В Чечню я ехал не убивать. У меня была своя позиция. Я в первый же день почувствовал, сравнивая нашу армию в Афганистане и в Чечне, елки-палки, хотя я все это время был в армии – я ее не узнаю. Я ее не узнаю! Это была какая-то дикость! Дикость по отношению к себе, к своим людям! Не то, что к чеченцам! Многие, прослужив там, в Чечне, год-полтора, ни разу не видели боевика, видели его только по телевизору.

Я был офицером управления. Одно из дел, которым мне пришлось заниматься, было такое. Бригада, там было большое количество батальонов – мотострелковый, артиллерийско-дивизионный, ракетно-дивизионный, разведывательный батальон. И вот такой случай произошел. Командир разведывательного батальона был «афганцем», прошедшим войну, два ордена Красной Звезды. И он пил вместе со всеми, просто алкоголик! И прибыл прапорщик, моего года рождения, 54-го, тогда ему был 41 год, отец двух детей. И вот прибыл этот прапорщик, с ним стали пить контрактники и довели его до такого состояния, что прапорщик стал стрелять по стенам, одна пуля срикошетировала и ранила контрактника. А эти контрактники просто бандиты были. И когда ранило солдата, командование бригады, вместо того чтобы разбираться, этого прапорщика зимой, был декабрь месяц, как Зою Космодемьянскую, раздетого привели в штаб бригады. Меня вызвали, я при-

шел и увидел такую картину. Не кто-то там, безграмотный контрактник, а замы командира бригады подходили, и каждый считал своим долгом его ударить, этого прапорщика! То есть нашу армию я увидел здесь во всей красе. Поговорил с этим прапорщиком, узнал, что у него семья, двое детей. Дальше его определили на ночь на гауптвахту. На следующий день я узнаю, что его нет в живых. Дело в том, что перед тем, как отправить человека на гауптвахту, медицина должна дать добро. А его поместили туда, не решая. Наутро его отвезли в медсанчасть. А медик сказал, что его в таком состоянии – он же избит весь! – надо было госпитализировать, в Моздок везти. То есть на гауптвахту пришли эти контрактники и избили его до полусмерти. Исполняющий обязанности командира звена, потому что командир был вдребезги пьян, будучи героем России, дает команду контрактникам – и его не отправили, а избили так, что он умер. Так я почувствовал, что я на войне. Почувствовал не от того, что над чеченцами издевались, а оттого, что умер этот отец двух детей, 41-летний старший прапорщик. Такого я видел много в Чечне.

Еще одна страшная история. Санинструктором ОБМО – батальонно-материального обеспечения – была женщина. Ее звали Роза, она татарка была с Дальнего Востока. В то время не платили нигде зарплату, а в Чечне платили, причем люди получали повышенную. А у нее дочка была, 19 лет, она закончила медучилище. Она позвала свою дочку в Чечню, дочка приехала, стала тоже работать санинструктором – и мать санинструктор, и дочь. Они жили в медпункте в казарме. И вот, что значит быть в Чечне. Дело в том, что никто не хотел туда идти, никто из офицеров, солдат не хотели служить в Чечне. Потому что там – смерть! Потому что непонятно, какая война! С кем?

Был один офицер, капитан, который прошел Афганистан, после чего уволился, потом увидел, какой бардак творится на гражданке, и через три-четыре года решил восстановиться в армии. А как восстановиться? Его отправляют в Чечню! Офицеров сюда присылали так. Советский Союз, когда развалился, где ты служил, ты в этой армии и оставался. Допустим, служил ты в Казахстане – русский, у тебя квартира там, а ты служишь в Казахстане – да на кой черт ты российской армии? Ты в казахской армии остался. Служил в Молдавии – в молдавской армии остался. Служил на Украине – в украинской. И тебе говорят: ты можешь восстановиться в российской армии только через Чечню. И вот люди, которые служили в казахской армии, когда они в Россию приезжали, их отправляли в Чечню. А куда идти, если ты всю жизнь в этой армии, и тебя только этому и учили, другого ты не умеешь. И вот этого капитана даже не назначили на должность. Он утром был у этих женщин – одна из них, Роза, должна уезжать в рейс со своим дивизионом артиллерий-

ским. На постели лежит автомат, он берет его в руки, она ему говорит: «Положи на место». Он ей: «Что? Да я – «афганец», я – капитан, я...» Случайно он патрон вогнал в патронник и нажал на курок. И пуля попала в эту Розу. И она, бедная, умерла у меня на руках, когда я тащил ее в санчасть. А этот капитан выпрыгнул в окно и пытался убежать. Его поймали – и что ему дали? Четыре года условно. И он продолжал служить в Чечне. В общем, такого ужаса и более страшного – было много на Ханкале.

Например, дежурство по ханкалинскому гарнизону. Там десантники находятся, на Ханкале, внутренние войска МВД, войска Министерства обороны, танкисты, артиллеристы, ФСБ и так далее. И по очереди несут дежурство. Допустим, заступают десантники: они ловят всех подряд: пехоту, танкистов, внутренние войска – всех ловят! Кроме десантников своих. «Это наши!» С мотострелковой бригады заступают – они ловят кого? Внутренние войска, десантников – только не своих! И не просто ловят – они же морды бьют, они же в них стреляют! И вот очередное дежурство нашей бригады. Поймали десантников, набили морду, там офицер здоровый оказался, здоровее десантников, и сам набил морду, на следующий день заступают десантники. Цель десантников – не лазутчик, который из Чечни проберется – о нем они не думают! Они думают, как бы поймать тех мотострелков, которые раньше поймали десантников. И поймали четырех человек. Что они сделали? Они же сами пьяные, и эти пьяные – все пьяные абсолютно. Они их начали убивать! Расстреливать. Они убили троих. А четвертый спрятался, тяжело раненный, ему удалось уйти и рассказать все это. Вот такие случаи были постоянно. То есть мне было не до чеченцев, не до Гелаева, Басаева. Мне достаточно было своих идиотов.

Я официально вел статистику по бригаде, но неофициальный у меня был статус на Ханкале – я был как бы замполитом всей Ханкалы, и владел ситуацией по всему гарнизону. И я знал, что, допустим, есть боевые потери и есть небоевые потери. Так вот, боевые потери были в период активных боевых действий с бандформированиями в Чечне, в декабре–январе 94–95-го года и августе 96-го года, когда боевики вошли в Грозный. А в остальное время – это не период активных боевых действий, если и погибали, то единицы. Основная масса потерь была внутри гарнизона, не от боевиков. Так вот потери от своих были в три раза больше, чем от боевиков. Но все списывали на боевиков! В Афганистане, можно сказать, одна треть потерь была от своих, а две трети от афганцев. А здесь две трети были от своих, не от боевиков, от своих! Это был ужас! Ужас, продолжавшийся постоянно.

А кроме того, сама война была идиотская. То, что я видел – идиотизм! И я соответственно себя вел. То есть, когда участвуешь в грязной войне, будь ты чистым человеком, и у тебя хорошие помыслы, но если ты участвуешь, ты все равно измажешься в грязи. А я это все понимал. И я говорил себе, что пусть лучше буду я, чем другой, потому что я все это понимаю.

В конце 95-го года была создана структура при Президенте России – Комиссия по военнопленным и пропавшим без вести. Представитель этой комиссии находился в Чечне, и его задача была освобождать, обменивать на боевиков наших пленнх солдат. Мы пленнх туда, они – оттуда. Виталий Иванович Бенчарский, полковник Генерального штаба, возглавлял эту комиссию. Мы с ним говорили откровенно, но я не занимался освобождением военнопленнх, тогда еще не занимался. А ему приходилось обменивать. Боевики отдавали четверых наших солдат за одного чеченца. Они отдали четверых из 31-го пленного. А тот чеченец, которого отдали наши, через час у них там умер. Он был весь избит. Это был скандал. Это было на глазах у солдатских матерей, наши матери возмущались! И вот Виталий Иванович обратился к командующему: «Мы обменяли четверых солдат на чеченца, а здесь есть пленные чеченцы, которых мы тоже будем менять. Но они находятся в жутких условиях, зимой у них не топят». Их держали на гауптвахте, а под гауптвахту был оборудован старый полуразрушенный клуб. И там не было батарей, а в Чечне довольно-таки холодно зимой, минусовая температура. И командующий дает команду – поставить им печку. Через день Виталий Иванович идет туда, чтобы проверить, как – поставили? Смотрит – нет никого, ни одного человека, ни одного, ни печки нет, и ни одного чеченца нет. Он стал узнавать, где они, мы же должны их менять! А в охране старший лейтенант появляется и говорит, что их нет. Оказывается, чтобы не ставить печку, он всех расстрелял. И ему ничего за это не было. Да, вот такая была картина. В Чечне боевиков держали в яме. Спецотряды внутренних войск держали их в яме. Но эти ямы были недоступны для меня. Я должен был заниматься личным составом, а это было недоступно.

Или вот еще случай такой. Один командир роты простыл, почувствовал себя плохо и прилетел на Ханкалу, чтобы обратиться в госпиталь. Там ему дали какие-то таблетки, он должен был лететь назад, а самолетов нет. А он такой – командир роты, награжден орденом Мужества. Ему говорят: «С Министерства обороны нет самолетов, а с Министерства внутренних войск есть самолеты, иди к ним». Он пошел к ним, а внутренние войска ему – ты кто такой, что такое, ты что к нам пришел? И стали над ним издеваться! Вот такой идиотизм был в Чечне, такой идиотизм. Ты не наш, ты с Министерства

обороны! То есть до боевиков надо было еще дойти, а здесь – свои! Вот эта ненависть – все с оружием, все с гранатами, ее надо было куда-то девать, она психологически поднимается независимо от воли людей, которые не имеют дела с фактическим врагом. И этого командира роты загоняют в яму, где держали боевиков, чеченцев. Стали стрелять ему под ноги, издеваться, избивать. Он через какого-то солдатика сумел записку мне передать. Я шум поднял, вытащил его оттуда. На носилках отвезли его в госпиталь, в госпитале узнали, что завели уголовное дело, надо писать заявление. На кого писать? Надо же знать тех людей. А те люди испугались, пришли в госпиталь к этому старшему лейтенанту, а он такой испуганный! Награжденный орденом Мужества – и такой испуганный! Я ему говорю: «Ты хотя бы покажи мне, не говори, а покажи мне, кто из них». Я написал, когда провел расследование, но у меня изъяли эти документы, и ничего им не было.

Июнь 96-го – начало июля – это выборы президента России. Перед выборами Ельцин говорил, что теперь война закончилась, каждый выстрел с российской стороны будет расследоваться. Многие потеряли родных, близких, детей. И вот выборы – после того, как изберут Ельцина, будет мир. Избрали Ельцина 3 июля 96-го года. На второй день после этого наши войска пошли в Урус-Мартановский район, и там погибло большое количество мирных жителей. Я занимался в Чечне выборами президента, выезжал в центр Грозного. А в республиканском центризбиркоме был прямой телефон в Москву, и я мог звонить куда угодно, с кем угодно говорить.

Я выехал в очередной раз, это было 5–6-го июля, и меня останавливает один человек. Он узнал меня, подошел и говорит: «Сделай что-нибудь. Ко мне вошли российские военные, спрашивают у меня: «Есть боевики?». Я директор школы в селении, уже пожилой человек, говорю: «Нет никаких боевиков, только сын и дочка дома». Они начали стрелять, тяжело ранили сына и дочку». Воспользовавшись прямым московским телефоном, я вышел на Сашу Любимова и Диму Муратова. Я говорю: «Пришлите своих корреспондентов, я поеду с ними и покажу, как наши воюют». Дима прислал двоих, и Саша прислал двоих корреспондентов.

И вот, воскресный день в июле. Замкомандира бригады прошел Афганистан и фактически от бригады был старшим на Ханкале, а я был его заместителем. Я говорю ему: «Брат, прикрой меня за воскресенье. В понедельник я буду стоять в 8 часов, как штык. Поеду в Урус-Мартан». Я поехал с журналистами в Урус-Мартан, и там они снимали разрушенные российскими войсками дома, разрушенную школу, разрушенную мечеть и так далее. Я говорил и показывал, как наши воюют. Это все показали в передаче «Взгляд».

Я сутки был там, с ночевкой у одного чеченца в Урус-Мартане. И был в военной форме.

И вот начальник посмотрел передачу «Взгляд» с моим участием, вызывает меня к себе. Рядом сидят три его заместителя, он говорит: «Я тебя размажу и уничтожу», – что-то такое он мне говорит. Я на это отвечаю: «Скорее я три раза обегу вокруг Грозного, чем вы это сделаете», – говорю при трех его заместителях. И он такого не ожидал от меня, выгнал. Я ушел. А потом его заместитель мне говорит: «Слава, тебе надо отсюда уехать. Он дал команду разведчикам тебя уничтожить». И вот я в своем общежитии лежу и думаю: «Елки-палки! Я еду по Грозному на БТРе, наверху, а у какого-нибудь мальчишки убили родителей, и тот мальчишка может в меня выстрелить. Мне что делать? Мне автомат, пистолет, это оружие нужно для того, чтобы его опередить? Убить этого ребенка, мальчика? Я этого не хочу. Или если этот дал команду какому-то офицеру уничтожить меня, что, я должен его опередить? В этого офицера выстрелить первым? У него тоже есть мать, у него есть дети. Я и этого не хочу». И того не хочу, и этого. Думаю: «Зачем же мне оружие? Оружие меня может только скомпрометировать. Если в очередной раз мы столкнемся...» Я, никому ничего не говоря, в конце концов, пошел на склад и сдал свой автомат и пистолет. По-прежнему ходил с кобурой, в кобуре держал гранату, но не автомат, не пистолет – оружие было сдано. И в военный билет мой была поставлена печать, что я его сдал. В августе события начались, боевики вошли в Грозный, меня командир бригады отправляет в центр Грозного, а у меня, – человека, который должен воевать с боевиками – нет оружия. Командир бригады спрашивает: «Где твой автомат?» Я говорю: «Он в машине лежит». И я провел целый месяц в Старопромысловском районе, где происходило что угодно, но у меня не было оружия.

Можно долго рассказывать о войне, я рассказываю о запомнившихся эпизодах. Однажды ночью я пошел проверить, не спят ли в окопах, чтоб боевики не подошли. В одном месте горит костер, около костра сидят человек семь–восемь ребят, и один рассказывает. Это контрактник попал к нам. Он рассказывает, как он воевал, как он убивал семи–восьмилетних мальчишек-чеченцев, «чтобы из них не выросли боевики». И он рассказывает им! Я это услышал, когда подходил к ним. И первый раз я растерялся, первый раз не нашел, что сказать. Ни перед боевиками не терялся, ни перед начальством, ни перед кем, а тут я растерялся – от этих слов. Видя меня, он продолжал рассказывать, как убивал детей. Я был просто в растерянности, думал всю ночь. А утром, только рассвет, я пошел обратно, построил всех этих людей, которые там были, вытащил этого контрактника, который рассказывал, и говорю: «Я майор, живу

там-то, я сделаю все для того, чтобы весь мир узнал, чем ты здесь занимался». И все оторопели.

Через несколько дней перемирие было, и разведбат должен уходить, а прикрывать его отход должен был взвод, около 30 человек. И вот в этом взводе, в этой группе оказался тот человек, которому я говорил эти слова. Такая была команда, оставить 30 человек, остальным идти. И я вот с большой дыней в руках иду к машине. А эта группа, которая остается, они смотрят на меня, а среди них этот контрактник, и он говорит: «До свидания, товарищ майор». Мол, вы здесь хорошо говорили, но в результате – мы остаемся, а вы уходите. Я вижу его, слышу его слова, несу эту дыню, и думаю, что если сейчас я уеду оттуда со всеми – да плевать им тогда на все мои слова! Я отношу дыню в машину, отдаю водителю и говорю, что останусь с этими 30 солдатами. Я остался там.

С такими отношениями, с тем, как я вел себя, можно было получить пулю от своих. Есть такая наука – виктимология, наука о жертвах преступления. Перед тем как ехать в Чечню, я учился на юридическом факультете. Моя дипломная работа называлась: «Некоторые криминологические аспекты преступности военнослужащих в Чеченской республике». Как не стать жертвой преступления ни при каких обстоятельствах? У меня была позиция – нельзя было чувствовать себя жертвой, нельзя.

Лебедевское перемирие. Были созданы российско-чеченские совместные комиссии. Я иду к командиру бригады. Он вызывает и говорит: «Тут жалуются на тебя, майор. Разведчики жалуются, ФСБшники жалуются, что ты им не давал воевать. Ходил без головного убора, ездил к чеченцам». Чтобы я без головного убора к ним поехал – это придумали ФСБ и разведбат. «Почему ты ездил без головного убора?» Я говорю: «Чтобы они меня узнали и не стреляли». Через день он меня вызывает опять: «Я придумал, что с тобой делать. Езжай в отпуск! Куда угодно езжай, лишь бы уехал отсюда». Я говорю: «Мне положено, в общем, 90 суток. Мне что, все это брать?» Он говорит: «Бери по максимуму!»

До этого я находился там год, а вообще, я был больше года, я был до конца декабря 96-го года, пока наши войска не ушли из Чечни. И вот сентябрь месяц, я взял путевку в санаторий, на следующий день приготовил вещи, должен ехать в отпуск. Я иду по Ханкале, навстречу Виталий Иванович – по освобождению заложников. Он увидел меня и говорит: «Тут говорят, что вы без головного убора ездите, в вас не стреляют, вы не могли бы меня сопроводить в центральную комендатуру в Грозный? Я договорюсь с начальством». А я ему: «Договоритесь, я вас провожу». Он договорился, и

мы поехали. Приехали туда, и все боевики, которые там находились, Масхадов, Махашев, стали подходить ко мне, а я их только по телевизору видел, стали обниматься со мной. Виталий Иванович увидел эту картину и говорит: «Вы должны работать с нами». – «Как с вами? Я же завтра в отпуск ухожу, меня увольняют». Он снова договорился, и я был прикомандирован к Комиссии при Президенте России по военнопленным и пропавшим без вести. Я занимался этой работой, пока носил форму, пока наши войска находились в Чечне, до декабря 96-го года. И после этого, когда уже снял форму, я занимался той же работой в «Новой газете» вплоть до 2001-го года. Первые мои освобожденные были в 96-м году. Последнее освобождение было в 2001-м году, в августе месяце. Вот женщина из Самары, которая 2 года и 2 месяца находилась в заложниках в Чечне. После освобождения она стала депутатом самарской думы. 5 лет была депутатом. Мы и сейчас иногда с ней перезваниваемся.

Всех тех, кем я занимался, видеть я не хотел, не хотел с ними общаться, не было никакого желания, освободил – и до свидания. И так получилось, что только несколько людей из тех, кого я освобождал, стали моими друзьями.

Мне помогало абсолютное знание того, что происходит. Я прошел Афганистан, очень многое видел тогда. Еще больше увидел в Чечне, такого, чего не видел в Афганистане. Я знал нашу армию изнутри, знал, на что она способна. И мне этого было достаточно. Когда я поехал в Чечню, мне был 41 год, а в Афганистане был 30-летним – и в тот период я был в отличной физической форме. Но дело в том, что устаешь. Проходит не год, не три, не четыре – и постепенно ты теряешь то необходимое чувство, что ты не будешь жертвой. Я это понимал, со временем я его потеряю. Но в тот момент я был именно в таком состоянии.

Приведу один пример. Это было в октябре 96-го года, я уже работал в Комиссии при Президенте России по военнопленным. Определили мое место в центральной комендатуре в Грозном, где были и чеченцы. Передо мной стояла одна задача – нахождение мест захоронений российских военнослужащих, а вторая задача – помощь освобождению пленных. Как оказывать помощь, если ни одного чеченца, на которого надо менять солдата, нету, всех расстреляли, всех расстреляли наши идиоты. Что делать, если первая задача у меня пошла – нахождение мест захоронений, я с чеченцами договаривался, ездил, наносил на карту. После ездили эксгумационные команды и выкапывали трупы, отвозили в лабораторию в Ростове. А задача – обмен пленными – не шла. Потому что не было на кого менять с нашей стороны.

Я встретился с Масхадовым. Нам дали чай с лимоном и творог со сметаной. Ни спиртного, ничего такого у них не было. Мы ели с ним вместе. Он офицер, и я офицер. Я говорю: «Вот, мне поставили такие задачи. Но я же не с мальчиком говорю, ты же знаешь, ни одного чеченца у нас нет, всех расстреляли, что же мне делать?» Масхадов мне говорит, подзывает человека и говорит: «Куда ты поедешь, он будет отвечать за твою жизнь, и как ты сумеешь договориться с полевыми командирами, так и будет. Приказать я им не могу». И я так этим и занимался.

Те, кто чеченцев никогда не видел, составили себе образ злого чеченца. У Лермонтова есть «злой чечен» в стихах. Они составили себе образ злого чеченца, страшного, но никогда не видели его. А чеченцы этот образ еще и выпячивают: «да, мы такие, вот такими и будем». Идиоты есть и с той, и с другой стороны. Но я могу сколько угодно привести примеров нормальных людей среди боевиков. Не случайно Масхадов мне сказал: «Договаривайся».

Злость создана страхом, негатив шел из боязни. Человек никогда не видел злого чеченца, но образ себе составил. А этот образ помог создать Президент России Ельцин.

Освобождение каждого человека, вот чем я занимался... Более 100 людей. Освобождение каждого человека, это, как правило, огромнейшая работа, огромные переживания, и через все это приходилось проходить. Но я, как врач – если ты будешь умирать каждый раз со своим больным, ты умрешь, в конце концов, или заболеешь. Я этим занимался многие годы, и я это не воспринимал как что-то личное. Я понимал, что это нужно, что этого никто не сделает, кроме тебя, тебе это досталось. Но я понимал и другое, что если я буду близко к сердцу это принимать, я не смогу работать. Освободил – и забыл. К сожалению, не все случаи заканчивались хорошо. В 96-м, 97-м, 98-м, 99-м годах я не знал потерь. Потери начались с 2000-го года. Я потерял двоих людей, для которых, как я считал, я сделал больше, чем для других освобожденных.

Главной моей задачей было привлечь к этой работе государство. И когда эта задача была осуществлена в середине 98-го года, я посчитал, что сделал все. Плохо ли работает государство, хорошо ли оно работает, это не важно. Важно, что государство этим официально стало заниматься. Но когда я увидел такой момент... Похищение было в Дагестане. Похищают и похищают, десятками похищают солдат. Я узнаю о возможном освобождении, от меня это невозможно было скрыть. Березовский дал 30 000 рублей на освобождение десятых. То есть на каждого – по три доллара получается. Освобождают восьмерых. А Березовский дал на десять освобожденных,

двоих не хватает. Деньги боевик получил, послал своих людей, они еще двоих похитили быстренько, и все. Я смотрю, сегодня похищен, сегодня же освобожден. Когда я увидел, что главная спецслужба своими действиями способствует похищениям, тогда, в 98-м году я видел, как они работают, я вынужден был продолжать свою работу. Я занимался не теми людьми, которыми занимались также и официальные структуры, а занимался выборочно теми, кем они не интересовались, или теми, у кого были какие-то проблемы.

У меня нет особого желания все это рассказывать, оно было, правда, вначале, но пропало. От усталости, от того, что люди могут не поверить и многое не воспринять, а может быть, я не так расскажу.

Марем, 49 лет

Если говорить вообще о войне, то обе чеченские кампании я находилась в Чечне, никуда я не уезжала, все видела своими глазами. В первую войну из города меня забрали в село: боялись, переживали за меня, я была молодая, как бы чего не случилось, это обычно у нас, у чеченцев. На все село было одно единственное радио, старое такое – «Океан», и я ходила слушать это радио каждую ночь. Я ходила слушать новости, потому что отец, мать, брат – все остались в городе. Сначала доносились очень плохие новости, что в городе творится страшное, повсюду на улицах трупы и так далее. Из города вышел отец, и когда он пришел в село, и я увидела, что отец жив, я, конечно, обрадовалась. Потом пришла мама. Остался брат. Мама не знала, где брат.

Я не верила, что может что-то случиться. И к маме у меня такая обида была: она со своим братом вышла, а мой брат – неизвестно где. И я убежала из дома, убежала из села искать брата. Я пешком шла всю дорогу: где-то машина попадалась, меня сажали, а кто-то не сажал. И вот я дошла до Грозненского водохранилища – мы его еще называем «морем». Там уже российские военные сказали, что дальше идти нельзя, ведутся зачистки, и никакого брата там не будет. «Вы лучше возвращайтесь». Дамба была подорвана, вся вода утекла. Везде были трупы, было очень страшно. Я увидела автобусы, которые стояли с табличками для беженцев, стала подходить туда и спрашивать женщин. Было много людей нечеченской национальности: русская, армянка и так далее. Я стала спрашивать у женщин, не видели они его? Описывала брата. И несколько русских бабушек мне сказали, описание похоже на молодого человека, который занимался тем, что пожилых русских бабушек выводил к автобусам, провожал их, потому что такие обстрелы были, никого не щадили.

Я с надеждой вернулась, хотя поздно было, боялась. Потом утром снова пошла. Когда я в очередной раз вернулась, мне сказали, что брата видели на базаре. Вот так я его нашла и увезла с собой в село. Но и пожалела потом об этом. У нас мама в одном селе, а отец в другом селе, оба были пожилые, больные, и когда брат, проведая маму, возвращался к отцу из села в село, его забрали. У нас с ним были документы с печатью, где был изображен волк. (В Чеченской Республике Ичкерия на официальном гербе был изображен волк – прим. ред.) Не мы были виноваты, государство было такое одно время, и это была государственная гербовая печать. Из-за этой печати его и забрали военнослужащие. Много пытали, мучили. Когда я узнала, что его забрали, я опять пешком. У меня не было ни паспорта, потому что он сгорел, не было никаких документов, не было денег, было всего 500 рублей. Я помню, 500 рублей – это как 5 рублей, чтобы с одной остановки до другой доехать. Я подходила к водителям и спрашивала: вы без денег не могли бы меня взять? Кто-то добрый брал, кто-то не брал. Но в итоге я пришла в Ханкалу. Когда проходила пост, услышала, как подъехала машина легковая и из нее сказали: «Мы по вызову Преображенского». Я почему-то подумала, что это комендант, хотя не думаю, что это настоящая фамилия. И я тоже, молча, стала проходить. Когда они подошли, спросили: «Вы куда, девушка?» Я сказала: «Я по вызову Преображенского». Солдаты переглядывались, начали посмеиваться. Я тогда не поняла, но сейчас понимаю, что, вот, молодая девушка идет по вызову Преображенского, наверное, что-то подумали не то. Но я прошла, и когда я пришла на КПП, была жуткая сцена, кто-то начал кричать, кто-то замахиваться прикладом: «Вы как сюда попали?!» Я сказала: «У вас мой брат!» Они сказали: «Кто вам сказал?» Я сказала: «Военные» – хотя это была неправда, я просто предполагала это. Они сказали: «Фамилия, имя, звание военное!» Я сказала, что не разбираюсь в знаках различия. Я тоже кричала, плакала. Потом пришли другие, ласковые. Начали говорить: «У нас есть военнопленные ребята, наши военные пропали, и если можете их найти, ваш брат здесь, мы вам его отдадим живым и здоровым». Я попросила фотографию, и принесли мне вот такую распечатанную из компьютера, размытую какую-то фотографию. Я почему-то подумала: «Наверное, фоторобот», и спросила: «Это не фоторобот?» Они сказали: «Нет. Это настоящий человек. Он пропал, и его нужно найти». И я сказала, что если он пленен, то я, наверное, смогу его найти. И они: «А почему? У вас в бригадных генералах есть родственники?» Я говорю: «Нет. Просто Чечня очень маленькая. А я сестра, у которой пропал единственный брат, случилась беда. У меня очень старые родители. Вы разрушили наш дом, нам жить негде. Я думаю, что

любой чеченец, пусть он бригадный или бандит с улицы, он поможет обязательно». И я, правда, ходила, спрашивала людей, ходила. И потом, в конце концов, мне сказали в ОБСЕ, что это фоторобот, что не следует искать.

Потом я продала наш разрушенный дом. Мне дали за него тогда 4 тысячи долларов. Разрушенный двор, землю, я все продала, принесла эти четыре тысячи долларов в ОБСЕ, и стала добиваться приема, чтобы мне за деньги его отдали. Потом ходила в Международный Красный Крест, Союз журналистов, писателей. И нужно правду сказать – все, куда я приходила, старались мне помочь. И так я узнала, что его из Ханкалы – избитого, раненного, еле живого – перевели. И я собралась туда. Я в юности слушала передачу «Узник», все время по ночам, и мне почему-то не безразличны были судьбы этих людей. Больше всего меня поражала эта тюрьма – «Белый лебедь», о которой я слышала в передаче. Я понимала, что там не самые лучшие люди сидят, конечно, но людям свойственно ошибаться, людям свойственно зависеть от среды, в которую попадаешь – это научно доказано. Конечно, люди не сами по себе становятся плохими, их делают плохими где-то нужда, где-то плохие родители, где-то общество, которое не смогло вовремя протянуть руку. И я вот вспоминаю эти передачи, вспоминаю, что там много людей, они всегда делятся по-братски, и ему ничего не достанется, если я не принесу много. Я помню, купила ему по десять килограмм всего, с такими большими мешками приехала. Было очень пустынно, колючая проволока, и только военные. Очень было страшно. Недалеко какой-то маленький ларек виднелся. Там торговал мужчина. И я мужчине сказала, что я вот оттуда, меня зовут так-то, и если меня сейчас заведут сюда, и я не выйду, вы скажите, хотя бы, что меня завели, чтобы меня не искали. Он сказал, что скажет. Но меня не завели. Вышел навстречу парень, представился, сказал, что его зовут опер Иван. И взял всю передачу, сказал, что не надо носить так много, и еще он мне сказал, что «ваш брат – это случайность». Не было никакой надежды его вытащить. Все, с кем я встречалась, опера, все говорили, что только обмен поможет... Обмен на военнопленных. Возможно, военнопленные были, но те люди, с которыми я встречалась, говорили, что их нет. И тогда наши родственники, ребята, взяли в плен двух прапорщиков – российских парней. Они не издевались над ними, не мучили их. Когда уже взяли, объяснили им, что нам нужно спасти родственника – вот сестра ходит, у нее только один брат. И обменяли их. Я этот обмен помню при ОБСЕ. Когда я пришла и сказала Масхадову и всем, что хочу обменять двух военнопленных на брата, Масхадов и его сторонники кричали, что этого нельзя делать, что у нас будет обмен всех на всех. Я стала им кричать: «У вас нет военнопленных! Если они у вас есть, почему вы их мне не дали в обмен на

брата? И я не позволю, чтобы мой брат из-за ваших прихотей политических...». Подошел прокурор ОБСЕ, попросил перевести, что я говорю. И после беседы с ним нам разрешили их обменять. И мы обменяли при ОБСЕ брата, и отдали ребят. Но я боялась к нему подойти, потому что мне рассказывали страшные вещи: что ему удалили нижнюю губу, что ему порвали рот, все это. Оказалось, что старый доктор, русский, без обезболивающих средств губу пришел. Он сказал: «Если сможешь вытерпеть, я сделаю так, чтобы тебе губу не отрезали». Пришел, восемь швов наложил внутренних. Погоны на плечах ему, конечно, вырезали. Всю кожу содрали, со спины всю кожу содрали. Током пытали...

А потом многие ребята, которые оттуда возвращались, встречались со мной: «Ты нас спасла от голодной смерти». Потому что то, что я передавала, я умоляла солдат им отдать, приносила им то же самое, что передавала брату. Просила: «Вот это вам, вы это поешьте. Я знаю, вы тоже не очень сытые. А вот это передайте туда, пожалуйста, я вас умоляю». И все передавали. Правда, передавали.

А вторая война была еще страшнее. Маму – опять в село, а отца уже не было. Он умер еще в первую войну. Сказал: «Если сегодня будет такой же минный обстрел, я не выдержу, у меня сердце разорвется». И, правда, разорвалось в ту ночь. Мы его даже похоронить по его завещанию не смогли, потому что он хотел в селе, где родился, а из-за боев мы не могли его отвезти туда. Брат мой не знал, что делать. Он очень боялся, что снова попадет в эти жернова. Он мне сказал: «Я уйду с ребятами. Я никогда не возьму в руки оружие, потому что я человек творческий, и мои идеалы – это жизнь и доброта. Я не возьму в руки оружие, но я буду с ними, потому что, мне кажется, так безопаснее. Я не выдержу пыток. Это очень унижительно и страшно». И я не сказала ему «не надо». Пока в 2000 году не было Комсомольского. Потом, после Комсомольского, отправили его за границу. Мама умерла уже. У мамы случился инфаркт. Она одна сидела и сказала: «Я больше никогда не увижу своего сына». Я сказала: «Мам, ты что, так нельзя!» Но она жила девять лет с мыслью о том, что его не увидит, и она оказалась права и не увидела его.

Я запомнила еще один случай. На Старопромысловское шоссе вечером приходили солдаты и зарывали мины перед металлоскладом. А утром приезжали танки, бронетехника, и на тех же минах, которые заложили российские военнослужащие, они подрывались. Это было очень страшно. Мы пытались помешать. Мама и я выходили, говорили: «Ребята, зачем вы это делаете? У чеченцев нет танков, у нас нет брони, самолетов, ничего нету, кроме этих ружей-берданок, которые брошены были в частях. Там подрываются не вра-

жеские танки – это ваши российские ребята подрываются!» Они не верили, у них, видимо, был такой приказ, они исполняли приказ. Так погибло много ребят. И вот, в одно утро подорвался танк, и молодой парень, я до сих пор помню его лицо, он говорил: «Женщины, пожалуйста, помогите, я не хочу умирать!» Женщины стояли, но никто не подходил. Я подбежала, подумала, что это женщины из-за черствости стоят и не помогают. А они, оказывается, застыли от ужаса, потому, что перед ними была половина человека. Нижней половины тела солдатика не было, понимаете? Верхняя половина еще жила, говорила, просила о помощи, хотела жить, в глазах такая жажда жизни была. Так он хотел жить! Когда он понял, что умирает, он сказал: «Женщины, простите меня, вы мне не враги, я не хотел с вами воевать, простите, пожалуйста!» Я его погладила по голове, сказала: «Бог простит, успокойся. Ни ты, ни мы не виноваты в этой войне». Так он и умер.

Вот эта его жажда к жизни, вот это стремление... Понимаете, можно делать политику, говорить, что все хорошо. Не все хорошо! Когда такая страшная боль, она не проговорена с обеих сторон, когда столько не досказано...

Мы нигде не работали. Свободное время я проводила за записями. Вторую войну встретила в селе. У меня не было документов. Дом, в котором я была беженкой, разрушили, и мои документы и документы многих беженцев и хозяев тоже ушли под развалины. Расчистить их было невозможно, потому что все время бомбили. И вот когда высадили десант в горах, я сказала, что нам нужно выйти, встретить и что-нибудь сделать, иначе они будут проходить через час и закидают нас всех гранатами, всех перебьют. Много домов было разрушено, и они могли не знать, что там есть люди. Нужно выйти навстречу и объяснить им, что есть люди в селе. И мы вышли, женщины, дети с зеленой простыней – к десантникам. Вышли к ним навстречу и сказали: «Если вам нужно проверить паспортный режим, мы вместе с вами пройдем по подвалам, и мы хотели бы, чтобы вы не применяли оружие. Хотите, мы будем впереди, вы – сзади, и так вот мы будем проверять паспортный режим». Они согласились, и мы вот так проверили паспортный режим. Очень удивились ребята, что в селе есть люди. Один даже сказал: «Представляешь, а у нас приказ уничтожать все, что двигается». Мы были живым щитом для того, чтобы с танками ничего не случилось. Мы понимали, конечно, что возможно. Понимаете чувство, когда вы знаете, что эти люди идут с оружием? Это невозможно понять, если такое не пережить.

А я себя чувствовала предательницей. Хотя я понимала, что необходимо было сохранить жизни мирных граждан, но если бы вправду боевики захоте-

ли, они могли бы и нас перебить. Такая вот картина получалась. И я себя чувствовала предательницей, мне казалось, что неизвестно, как мы бы поступили на месте этих боевиков, понимаете? Вот так мы сопровождали колонну.

Во вторую войну сын, который был с отцом, ему было тогда 12 лет, услышав об очередных зверствах, пришел ко мне со слезами на глазах и сказал: «Если с тобой что-нибудь случится, я не переживу. Носи с собой гранату. Если тебя будут брать военные или еще что-то случится, ты просто выдернешь кольцо, прижмешь. Это не больно, и ты умрешь». Я поняла, что он имел в виду, когда говорил «что-нибудь случится». Он боялся позора, боялся, что меня изнасилуют или заберут, или что-нибудь такое. Он был согласен, чтобы я умерла, только бы ему не переживать стыд. Это было страшное открытие для меня. Я до сих пор не могу разрушить эти стереотипы своего сына, хотя он уже взрослый человек. Ведь иногда нужно пытаться перешагнуть через этот барьер и выжить, преодолевая все, что он считает позором. «Вот это не должно случиться. Лучше смерть, чем это». Это шокирует, конечно.

И если это важно, мне кажется, если это так важно для народа, почему нужно было его так унижать, нарушая последний барьер, разрушая последние человеческие ценности? Дело не в том, что шла война физическая. Она шла и на моральное, психологическое унижение, понимаете?

Иногда я очень хотела умереть. По ночам, когда спала, и самолеты начинали летать, меня тетя будила. Я однажды заплакала и высказала ей обиду: «Ты почему не хочешь, чтобы я умерла счастливая? Я буду спать, ничего не буду знать. И я умру счастливая». Я думала: «Вот бы снотворного много-много выпить, заснуть и умереть счастливой, чтобы всего этого не видеть». Очень было жутко, страшно было. Безысходность была очень жестокая, как будто все закончилось, и нужно начинать снова листать всю жизнь, я ее до сих пор так и не начала. Мне кажется, что вот-вот что-нибудь произойдет удивительно хорошее, и я с белого листа начну хорошую, другую жизнь. Но у меня вот это чувство безысходности усиливается, оно не уходит.

Наталья, 72 года

Мама умерла в 92-м году, а папа еще раньше, в 74-м году умер. В 96-м году коридор был, многие бежали в Москву, и я в том числе, к своим знакомым. Но со мной был только паспорт – и все, никаких других документов не было. Я все оставила у брата, в надежде, что все утихнет, и мы вернемся. Пришлось обратиться в миграционную службу по поводу компенсации – вдруг там все разбито и так далее. Многие это делали, и мы узнали, что это надо делать. Ну, обратились. Однако документов на квартиру у меня никаких

не было, мне нужно было возвращаться в Грозный, чтобы подтвердить, что я действительно там проживаю. И я вернулась в Грозный, тем более что там брат был больной, а больше никого.

В 99-м году – страшное дело, ко мне пришла беда. Личная. Я пошла в школу с девочкой, на автобусе мы ехали, маленький такой автобус, «УАЗик» что ли... Это было 14 марта, как сейчас помню, воскресенье, у нас по чеченским обычаям в воскресенье работали, а в пятницу отдыхали. Я на работу ехала, со мной была девочка-девятиклассница. На остановке, где мы должны были сойти, она раньше меня вышла, а я за нею. Мне надо было деньги отдать водителю за проезд. Отдаю, выхожу – она уже дорогу перешла и стоит, меня ждет на той стороне. Я вышла из двери автобуса, он еще даже не тронулся с места! И в этот момент легковая машина, вывернувшись из-за этого автобуса и поехала прямо на меня. Резко останавливается и оттуда, из задней двери, выходит молодой парень. Вы знаете, ужасного вида, звериные просто глаза, говорят, таких специально подбирали. Я была в шоке от его вида, мне стало жутко. Растерялась, конечно, не поняла, в чем дело. А он резким движением схватил меня за руку, такой цепкой хваткой, что я не могла руку выдернуть. Я была в пальто межсезонном драповом, это был март, прохладно еще было, на голове теплый шарф, на ногах полусапожки, ну, и в юбке, мы там брюки не носили. И вот он схватил меня и стал толкать на заднее сидение в машине. Я успела крикнуть: «Помогите, спасите!» Но это настолько быстро произошло, мгновенно, что если и слышали мой крик, никто бы мне помочь не смог. Короче говоря, он меня затолкал на заднее сиденье, и машина тронулась. У меня было состояние ужаса! Я такого не ожидала. Ну, когда знаешь, что тебе что-то угрожает, то, может, ты к чему-то готов. А тут – ничего абсолютно не предвещало – и вдруг такое! Они включили громко музыку. Стянули шарф с моей головы, завязали им мне глаза и предупредили: «Если будешь кричать, придем». Я уже понимаю, музыка орет вовсю, что там кричать, толк какой будет?

Они тут же обшарили мои карманы. В кармане у меня был ключ от квартиры – вот этот ключ они забрали, и я сразу поняла: «все, эта квартира потеряна». Ну, хорошо, что у меня ветеранское удостоверение, «ветерана труда», было в сумочке. Со мной сумочка была черненькая, с ней я ходила в школу, в ней были детские сочинения и деньги. Родители собирали нам деньги, потому что зарплаты не было, по 10 рублей, мы их должны были сдавать в общую кассу и распределяли потом. У меня, насколько я помню, 70 рублей было десятками. Вот, значит, ключ от квартиры они забрали и деньги из сумочки, а сумку мне бросили. Ой, Боже мой!

Ну, а потом повезли меня, не знаю куда. Просто едем, едем без остановки. Они разговаривают на чеченском, хохочут, музыка орет, а мне до того больно, обидно, я думаю, вот как раз в 10 классе я должна начинать урок по теме «биография Достоевского». Любимый мой писатель. Я так хорошо подготовилась. У меня был великолепный фотоальбом с фотографиями, все думала как-нибудь показать его детям. Сорвалось это все. И урок не смогла провести, и непонятно, почему они меня схватили, куда везут, зачем? И мысль была: «Сейчас убьют, и все». Такие случаи уже были, когда людей похищали, это было массовое явление, похищали не только русских, но и своих. Забирали их квартиры, имущество, все. Ну а если человек вернулся – значит, какие-то показания им были нужны. И вот эта мысль у меня – убьют, закопают, и все – искать некому! Потому что нет никого! Родственников нет. «Кто-то навел их, значит, на меня, чтобы квартиру забрать. Я одна...»

Еще светло было, когда они остановились и повели меня с завязанными глазами. Тут уже те, которые меня похитили, что-то на чеченском языке сказали и уехали. А со мной другие были парни, те, которые ожидали. Это была первая остановка, первый привал. Я проголодалась ужасно, у меня глаза распухли от слез, тихонько плачу, потому что, если я начну рыдать... Они не любят, когда сопротивляются или истерику закатывают, просто звереют. И я думаю: «Что я буду перед ними унижаться и показывать свой страх?» Но все равно, слезы, обида, и больно. Я думаю: «Господи! Ребята, дети, я же вас столько лет учила, да? И за что же вы так, как же можно, а? Ну что я вам плохого сделала? Господи!».

А я начала, знаете, о чем говорить? Я говорю: «Господи! Как жалко! Сегодня у меня урок – любимый писатель, биография Достоевского. Ну что ж такое, за что, зачем!» Они мне говорят: «Ты вот меньше об этом Достоевском думай, а думай, как отсюда выбраться». Я говорю: «Ну, если вы мне поможете, то я выберусь». – «Нет, нам нельзя». Я говорю: «Вы хоть читали «Преступление и наказание» Достоевского?» Естественно, они понятия не имеют. И я им вкратце начала рассказывать. И, видно, как-то тронула их сердца, в общем, они раздобрились, и один из них говорит мне, а они на «ты» меня все время называли: «Ты, наверное, голодная?» Я говорю: «Да, вообще-то, не мешало бы поесть». – «Ну, подожди, сейчас». Принесли мне лаваш, горяченький такой, наверное, все-таки недалеко были дома, я не знаю. И термос с чаем. Я себе думаю: «Ну, это они не иначе как за Достоевского, за «Преступление и наказание» накормили и напоили меня».

Потом приезжают похитители и стали меня спрашивать адрес. «Говори адрес свой домашний». Я подумала: «Если я скажу чей-то адрес – почему

другие люди должны страдать?» Представляете, они же могут... «Нет, думаю, ключ забрали. Все, пускай! Бог все равно все видит, разберется Господь». И дала свой адрес. Потом я узнала, что они там хозяйничали, в моей квартире, все вытащили, разграбили полностью и даже документы забрали.

Потом опять в машину и повезли меня. Привезли в частный дом, а в этом доме подвал. Как-то меня стащили вниз, сами потом поднялись наверх и закрыли крышку подвала. Я огляделась, темно, нащупала у стены какой-то матрас рваный, старый, и все, больше ничего. Ну, я тепло была одета. Шарф, толстое пальто, мохеровая кофта, под ней еще была кофточка тепленькая, ну, колготки, потом гамаша, полусапожки осенние. И крышка этого подвала немножечко была приоткрыта, слегка, в щель проникал свет, в общем, видно было, я подумала: «Господи, хоть различать буду, когда день, когда ночь». Значит, они еще не спят, я поняла, что я нахожусь под ними.

Ой, Господи, сколько ж я там, наверное, несколько дней в этом подвале пробыла. Я стала там шуметь. У меня надежда была, я слышала, как по утрам мимо проходило стадо коров, и думала, что там, наверное, пастух есть. И вот я нащупала на полу какие-то камни. И как прогоняли это стадо, коровы мычат, а я камнями об стены стучу. Стучала-стучала, коровы, видно, слышали, но люди – нет.

Ну, что еще в этом подвале? У меня «Живые помощи», молитва была! Однажды такое чудо было. Я всем рассказываю как о чуде, но это на самом деле было. Одна стена этого подвала была деревянной, все остальные – из кирпича. Ну и пол каменный. Однажды я молилась, просила Богородицу, чтобы она меня спасла, чтоб сохранила меня, помогла мне, вытащила меня из плена, помогла мне бежать. И вдруг на этой деревянной стене – это было ночью – я увидела ее образ с младенцем на руках. Я видела, как она спускается ко мне. Я глазам своим не верила! Но это было мгновение – вот она спустилась, как на иконах изображают. Потом вдруг светло стало в подвале. Так светло! И пространство появилось – будто границы этого подвала расширились. И мне показалось, что можно идти куда-то, понимаете? Дальше, дальше, дальше – много пространства, оно огромное! И я сделала попытку, пошла – но нет, наткнулась на стену. И все исчезло, опять стало темно. Но появилась мысль, что я обязательно буду спасена. Она меня спасет, она мне поможет. Уверенность появилась. Представляете? Какая-то сила и уверенность.

Однажды ночью шел проливной дождь, они пришли, из подвала меня вытащили с завязанными глазами, под дождем из дома вывели, и куда-то повезли. «Ну, вот, ты стучала, теперь тебе рай будет». Я еще подумала: «Какой

рай? Видно, что-то приготовили, еще хуже». И в самом деле. Ой, Господи! Привезли они меня. Вот, допустим, дом стоит, двор. И в этом дворе – подвал. Спустили они меня вниз по лестнице, и дальше уже подвал в виде узкого пенала – руки раздвинешь, и вот они, стены. Длинный, никаких полок, ничего нету, пустой. И камни необтесанные. Бросили они несколько мешков, то есть на этих мешках я должна спать. А уже холодно было.

Да, хорошо, что в первом еще доме в подвал мне девочка-чеченка бросила шерстяные носки. Вот я этой девушке начала жаловаться: «Девушка, ты же молоденькая, как дети мои, я в школе работала. Такой грех вы совершаете! Зачем вам это надо? Перед Богом же придется отвечать». Она мне говорит: «Я сама боюсь. Если я по-другому буду, меня убьют. У меня мама умерла недавно, у меня сердце плохое. Я всех боюсь». Вот так она мне сказала, и больше я ни слова не сказала, не обращалась к ней, я поняла, что она сама достойна жалости, эта девочка. Но она мне эти шерстяные носки бросила – такие толстые, правда, в нескольких местах рваные, но они мне помогли, иначе я бы ноги там потеряла, в том подвале, где пол каменный и стены каменные.

Начался кошмар какой-то. Дня три мне не приносили пищи. Была вода – жестяная кружка – и эту воду я пила понемножку. Потом я думаю: «В конце концов, можно пить мочу, кушать-то – можно не кушать, но если обезвоживание будет, то все, тебе смерть». И вот вода заканчивается, я думаю, что «пора начинать это». И ведро они мне поставили, ну, чтоб я в туалет, я же не буду выходить. Но ведро такое, что дно протекало, и все такое.

Ну, а в этом подвале, что я делала? Я вспоминала свое видение, я почему-то верила: «Все равно мне на помощь придут небесные силы, я буду спасена». И я стихи читала, молилась, песни пела, только чтобы отвлечься, зарядку делала, думала, что иначе отекут ноги, и конец будет. Расстояние там небольшое было, все равно, я ходила, ходила, ходила. По ночам было холодно, замерзала я сильно. Ну что такое мешки среди камней? Март месяц, холодно.

Ночью приезжают, опять меня затолкали в машину, повезли, я никогда не забуду, как они ехали и радовались, пели песни какие-то на своем языке. Обращаясь ко мне, они говорили, что обзванивали моих родственников, которые уехали из Чечни, и видно, кто-то из этих родственников, сказал: «Ну, мы подумаем». Подумаем над тем, как мне помочь. То есть они требовали деньги. Выкуп. Вот они и радовались.

Привезли меня, как потом я узнала, в село в нескольких километрах от Грозного. Это было последнее мое местопребывание. Первое, что я увидела,

что это однокомнатная квартира, не подвал. У них появилась такая надежда получить деньги, обрадовались они. В этой квартире, тем не менее, тоже был подвал. Они мне говорили: «Вот железная лестница, тут подвал, глубина, знаешь, какая? Если будешь вести себя плохо – ты там будешь». Боже мой, за что, почему? Не пойму никак. Матрас кинули мне рваный к стене, и одеяло принесли старое. Сами они – это уже два других охранника – находились около окна. Представляете: однокомнатная квартира, окно, и прямо под окном кровать железная, и на этой кровати только матрас, и они там спали. Мне запретили подходить к окну. А окно было завешено шторой, плотной такой тканью. Предупредили: «Тебе конец будет, если туда подойдешь». Я сначала не понимала, в чем дело. А они почти постоянно, то один, то другой здесь находятся. Первое время я не подходила к окну, боялась. А позже были такие моменты, когда они отлучались на кухню. Один уйдет, кричит другому, и они потом быстро возвращались. И я осмелела, подошла, отодвинула эту штору. Оказалось, это был первый этаж! Вот чего они боялись! Теперь я ждала только подходящего момента.

Я бежала 21 апреля 1999 года. Проходит время, появляются однажды похитители и говорят, что через три дня мы отрежем тебе палец и пошлем твоим родственникам. Плохие у тебя родственники. И кассету отправим, тебя сфотографируем. И когда они уехали, тут у меня появилась мысль: «Нет, ни за что! Чтобы этому подвергнуться – это ужас какой-то! Сопляки какие-то, они со мной такое будут творить!» Я стала молиться: «Господи, помоги, подскажи мне, что мне делать!» И три дня я в рот не брала ничего, не могла есть. Воду только пила, воду у них просила. И все время у меня работала мысль: «Что мне делать, чтобы этого не случилось! Они это сделали бы! Они мне сколько раз говорили, что у меня родственники плохие, что, мол, мы тебя уьем и закопаем вот тут, на пустыре. И никто тебя искать не будет, и никому ты не нужна». Я знала, что они это сделают.

Настало 21 апреля. У меня уже созрел план. С утра – холод собачий! А там первый этаж, деревья, ветки бьют о стекла, ветер сильный. Я им говорю: «Вы знаете, мне плохо, я задыхаюсь». А я уже несколько раз им это говорила, что у меня сердце большое, что у меня ноги отказывают. Приходилось изображать больную, немощную, чтобы они знали, что я никогда не смогу убежать, что у меня ни здоровья, ни сил нет таких. И вот я начала ныть: «Откройте, говорю, окно! Мне плохо, просто сердце не выдержит». Они открыли. Сразу ветер сюда задул, прохладно стало. Один из них пошел на кухню, сказал: «Мерзляк, я пойду». Ну, я опять молю Бога: «Господи, хотя бы этот ушел, хотя бы ушел, хотя бы ушел!» Вскоре он не выдержал, потому что они прямо под

окном находятся. И говорит: «Ну, я тоже пошел». И оттуда, с кухни, они мне кричат: «Тебе принести покусать, ты будешь есть?» Я говорю: «Нет, пока не буду, попозже. Я скажу вам, когда буду». А сама думаю, надо начинать. Они там, на кухне, сидят, гремят посудой, кушают. Я в это время соорудила куклу, как будто я там нахожусь. Вот это пальто свое как-то свернула, одеялом накрыла, шарф сверху, будто голова моя. Потом из полусапожек я вытащила удостоверение ветерана труда. Потом крестик, они у меня как-то увидели крестик и сказали: «Сними». Они не знали, что это серебро. Ну, может быть, не хотели трогать, потому что это крест. Я его не выбросила, естественно, и этот крестик, и «Живые Помощи», молитва – все с собой. Я подхожу к двери в прихожую, за прихожей – ванная-туалет и кухня, где они сидят. Мне сказали, когда тебе нужно в туалет, ты должна нас предупредить, они даже меня туда провожали в туалет. Я крикнула им: «Мне нужно в туалет». Никто не вышел, сказали: «Иди». Думаю: «Слава тебе, Господи!» И вот я пошла, подхожу к этой двери – ванная-туалет, вот так ее беру, открываю и тут же захлопываю, причем сильно так, чтобы они слышали, что я там, туда зашла. А сама быстро, на цыпочках, в носках, опять в комнату, прикрываю дверь – и на подоконник. Все! И вот я спускаюсь, смотрю, внизу выступ, я на этот выступ – и на землю. Еще за собой окно прикрыла. Я на свободе! Это непередаваемо! Это надо только испытать. Вы не представляете, какое я испытывала чувство! Я думала – все! Теперь я им в руки не дамся, буду кричать на весь мир! Я им не дамся, живой я им не дамся.

Спустилась – и опять говорю: «Господи, веди меня, руководи мной, направляй меня! Куда мне идти, помоги мне!» И ноги мои понесли. Откуда сила взялась, откуда прыть взялась? В этих носках шерстяных, в задрипанном халате, вид у меня был – ужас какой-то. Бегу. Смотрю, у подъезда стоят две женщины, по обличию русские. Я к ним подбегаю: «Женщины! Помогите! Спасите! Бандиты могут сейчас за мной гнаться, а я много дней была у них. Спрячьте меня, пожалуйста! Я потом вам все расскажу!» Ой! Они от меня руками и ногами: «Нет, нет, мы боимся! Нас самих тут ограбили, деньги отобрали, избили. Нет, нет, мы боимся». Я говорю: «Ну, хорошо, подскажите, куда мне! Ну, куда?» Они мне говорят: «Вот тут, внизу, тот же подъезд, первая или вторая дверь – там чеченцы, но они хорошие». Это их слова буквально: «Чеченцы, но они хорошие». И я в самую первую дверь стучу. Открывает дверь женщина, лет за 40 на вид. Я мимо нее внутрь проскочила, у нее недоуменный взгляд, но она не стала меня выгонять. То ли вид у меня был, достойный жалости, но она меня не вытурила. Я говорю: «Ради Аллаха! Помогите мне, спасите. Я не бандитка, не мошенница, просто человек пострадавший, я вам все-все расскажу, помо-

гите, ради Аллаха, закройте дверь, пожалуйста!» Она закрыла дверь абсолютно спокойно. Заводит меня внутрь, там трехкомнатная квартира была, зал и две маленькие комнатухи. Она меня проводит в зал: «Садитесь на диван», я села и начала рассказывать. «Я учительница из школы, вот такое со мной случилось, от этих бандитов я сейчас убежала». Ну, она меня выслушала, и говорит: «Вы, наверное, голодная?» А я сколько дней в рот ничего не брала. Говорю: «Да, конечно». Она на кухню меня увела, из холодильника все, что там было – сметану, творог – достала. Чай, лепешки, все на стол, и говорит мне: «Давайте, кушайте». Я поела, она мне говорит: «Я женщина, я вам ничем помочь не могу, но у меня муж и старший сын, они сейчас работают в маленькой комнате, ремонт делают, освободятся и вам помогут. Вы им расскажете, и они все сделают для вас. Ну, успокойтесь». И правда, они освободились, пришли, я им рассказала все. А потом пришли бабушки, видно, всем соседям уже порассказали – как пошел народ! Там и чеченцы, и русские – все заходят в эту квартиру, на меня смотрят, как на редкий экземпляр из красной книги. Некоторые расспрашивают: «Расскажите, где они, мы сейчас пойдём. Как вам помочь, что делать, куда вас?» Они тоже боялись, потому что начнут искать эти бандиты. Мужчины пошли искать оружие. «Мы найдем оружие, придется брать с собой, но мы вас не отдадим, успокойтесь». И вот когда они сказали, «мы вас не отдадим, успокойтесь», – все, у меня прошел страх, я им поверила. Пришли с гранатами. Переодели меня, абсолютно все, что на мне было. Женщины говорят: «Мы это все сожжем». Мне дали другую одежду, изменили мой внешний вид. И мы поехали. Со мной водитель был, потом еще один человек и я. И у них с собой были только гранаты, они говорят: «Если вдруг что, мы с ними разберемся».

Я сказала, чтобы меня в Москву переправили. Ну, они в Ингушетию меня увезли. А там аэродром был под охраной. У меня паспорта не было – как в самолет попадешь без паспорта? Учительница, семью которой потом расстреляли, мне дала паспорт. Рискнул человек. Я не знаю, как можно было, но она не побоялась! Вот какие люди оказались на моем пути! Спасибо им, ведь эти простые люди рисковали. Она дала паспорт, даже не задумываясь, сразу. И вот они под охраной привезли меня на аэродром, купили билет, денег дали. Ну, небольшую сумму дали: «В Москву приедешь, а как ты там?» Летела я в самолете, где одни чеченцы были. Все незнакомые, одни чеченцы. Думаю: «Ой, Господи, хоть бы никто из них...» А дальше я взяла такси – и к своим знакомым. Они меня очень хорошо встретили, откормили, напоили, одели, согрели. Целый месяц я вообще не выходила от них. Я боялась, что за мной следом они приедут, все время боялась. Был случай, когда я вышла и увиде-

ла машину с тонированными стеклами, без номеров! Вы бы видели, как я за деревьями пряталась! Как я ждала, когда они, наконец, уедут! Ну, никому здесь дела ни до кого нет, люди садятся в автобусы, на меня никто внимания не обращает. Но если бы со стороны кто-то на меня посмотрел, решил бы, что какая-то ненормальная женщина прячется за деревьями, время от времени оттуда выглядывает и что-то высматривает. Вот какое было у меня состояние. Боялась машин. Все время смотрела, есть на машине номер, или нет. И какие стекла.

Позже я узнала, что дом, в котором я жила, сгорел.

Веда, 28 лет

Я тогда маленькая была, поэтому не боялась, не переживала, я только видела страх. Ну, могла оценить ситуацию по выражению лиц родителей, бабушки, дедушки, по тому, что они говорили. Я понимала, что-то плохое происходит, что они встревожены, но меня это сильно не задевало.

Мы жили в подвалах. Это мне казалось забавным – жить в подвале, а еще бегать смотреть на ракеты, вертолеты. В таком возрасте я перенесла это легко для психики и души.

Мы уехали в Дагестан к знакомому отцу. Я помню, что мы долго ехали, но дорогу совсем не помню, мы объезжали что-то. Приняли нас нормально, но это было село, забытое Богом. С одной стороны поле, с другой стороны – маленькие домишки. Настолько там все было маленькое! Не было магазинов, даже ларька, чтобы что-то купить. Такое интересное место. Было трудно разместиться, потому что на три комнаты – наша семья и еще какие-то беженцы. Но это тоже было забавно. В первую войну я не переживала. Это была просто смена места для меня. Ну, понятно, что что-то плохое там происходит, но сильных потрясений у меня не было.

На протяжении всей войны в Чечне время от времени появлялись слухи об окончании войны. Люди всему верили, серьезно воспринимали. Вот и мы возвратились домой. Во-первых, совсем невозможно было там жить, во-вторых, говорили, что уже война закончилась. Это было в марте, наверное, 95-го, в самый разгар. Приехали, потому что нам говорили, что все уже можно ехать домой. Мы приехали, война, типа, закончилась, и тут начались обстрелы, и мы побежали в подвал. Друг приехал к отцу, он так смеялся: «Как война закончилась? Она только начинается».

В принципе, ко всему можно привыкнуть, мы тоже привыкли. Привыкли жить без света, закрыли все комнаты, занесли какую-то печку. Жили в одной комнате, чтобы тепло держать, а другие комнаты невозможно было натопить,

и свечки зажигали... А еще тема была серьезная – воду таскать за несколько километров, в ведрах, бидонами. Воды не было, водокачки были где-то далеко, был источник. Надо было сто метров под гору спускаться, потом сто метров по этой горе подниматься, и этим мы, сестры, пять–шесть лет занимались каждый день по 10–20 раз. Просто привыкли.

Я в первую войну совсем как-то не переживала: убьют – не убьют, а вот старший брат, он был на полтора года меня старше, видно было, что он очень переживал, потому что постоянно летали вертолеты, какие-то пушки летали над нами. Он сильно переживал и не мог учиться в это время. Отец заставлял его. Брат говорил, что пока слышит эти звуки, он не может учиться, ничего в голове не держится. Отец говорил: «Привыкай – это навсегда». Видно было, что брат ужасно переживал, в то время как я не переживала совсем.

Конечно, отношения между людьми изменились, потому что, когда нет войны, когда смерти нет, люди эмоционально не напряженные, добрые, а во время войны все время плачут, все время кого-то хоронят, половина людей уехала, как-то все напряженно, уже совсем другая атмосфера, и люди тоже изменились.

Когда первая война закончилась, Ичкерия как бы победила и начала строиться, и тут начался хаос, два года какого-то беспорядка. Было небезопасно, законы не действовали, все время стреляли, ваххабизм распространился. Нельзя сказать, что это было мирное время, война продолжалась. Не было, конечно, обстрелов, зачисток, боев, но беспорядок и беспредел был полный. Каждый второй носил оружие, делал, что хотел, мог что угодно сделать.

Мы жили в маленьком селе. Это было такое место... Во время занятий в школе к детям или боевики заходили, назову их ваххабитами, или федеральные войска. Они любили занять какое-то место и оттуда обстреливать. Были случаи, когда местные бегали за ваххабитами, чтобы их поймать, потому что из-за них были проблемы, например, обстрелы села.

Были иногда почти смешные моменты. Например, у нашей бабушки село большое, там было много ваххабитов. И там каждый день были проблемы. Днем федералы ходили, чистки делали и плохо себя вели, а к ночи они уходили. Наступала ночь и, как в игре «Мафия», в село входили местные боевики-ваххабиты. И они друг с другом почему-то никогда не встречались. Бывало так, что колонны ваххабитов часами куда-то шли, так что мы даже не могли дорогу перейти. Они уходили, потом прилетали вертолеты и начинали бомбить село. Потом улетали, а эти возвращались. И так продолжалось несколько лет. Как-то все это очень странно было.

Я помню начало второй войны. Я не знаю, нужна или не нужна она была. Я особо об этом не думала. Я четко знала, что не хочу отделения Чечни, потому что мне в детстве казалось, что если Чечня отделится от России, то граница – это будет не просто граница, я представляла себе какие-то заборы, которые все от нас закрывают. Чечня закроется, и невозможно будет поехать никуда. Такие у меня были мысли. Не было в семье таких настроений, что мы хотим отделиться. Среди одноклассников, впрочем, были такие разговоры – «хотим отделиться», «Ичкерия», «любим Дудаева». Когда Дудаев умер, я слышала, даже плакали все. А у нас в семье никто не обсуждал, что кто-то умер.

О том, что началась вторая война, мы узнали из телевизора, там Путин что-то объявлял. Тетя начала плакать. И вот началось. Я помню, тогда я сильно переживала. Мы уехали домой. Мы всего лишь полгода жили в условиях войны, но за эти полгода я успела напереживаться за все те годы, когда не переживала. Не знаю, почему, наверное, взрослая уже была и боялась. Война – это и есть люди. Кругом беспредел, кто угодно и что угодно может сделать, и некуда и некому пожаловаться, сказать, что происходит из ряда вон выходящее, беззаконие. Я думала каждый день: «Ну, вот, следующая бомба упадет на нас, и я умру». Ночью не спала, ничего не могла с собою поделывать. Прислушивалась к звуку самолетов, не могла играть. Мой старший брат уже вторую войну ходил куда-то играть в баскетбол. Я не могла понять, как можно в баскетбол играть, когда они там шума не слышат – вдруг прилетит самолет, и что-то произойдет.

Не помню, чтобы я с кем-то обсуждала, нужна или не нужна эта война. В школу мы ходили, но в основном у нас дома был класс. Мы почти всю первую войну занимались дома, потому что учителям не платили. Поэтому не с кем было особо обсуждать, да и нечего было обсуждать, мы думали, как выжить...

Тяжелая жизнь, я отвыкла от света. Я всегда так представляла Москву – там есть свет, и его не выключают, а у нас нет света. И все-таки странным казалось, когда мы переехали в Москву, что свет, газ, вода есть всегда. Первый месяц это непривычно было. Мне кажется, такие неудобства, как отсутствие света, газа, воды, которую надо было таскать на себе, без последствий не проходят. Когда я носила воду для дома, я надорвала себе спину и внутренние органы. Во вторую войну я сильно переживала за семью. Меня само это переживание убивало, потому что я каждый день думала, что сегодня мы умрем.

Обидно было, что все-таки на Чечню напали, в итоге все разрушилось, даже морально, и выросла непонятно какая молодежь. Из-за войны все так перевернулось, появилась большая ненависть, нетерпимость к чеченцам.

Когда мы в Москву переехали, все так ужасно было, мне говорили в лицо: «Вас надо взорвать, убить, стереть с лица земли». Первые года два я ужасно хотела вернуться в Чечню, хотя там война была, потому что ненавидела Москву. Негатив ужасный был. Сейчас такого нет, но в 2000-е годы это на каждом шагу видно было. С милицией были проблемы – к нам приходили в два–три часа ночи, я слышала, как по радиации передавали: «Вот здесь без регистрации живут, что с ними делать?» Это постоянно было. Соседи говорили: «Да они нас взорвут! Чеченцы!». Это ужасно. У меня первые полгода голова болела, я жутко переживала. Потом уже как-то прошло, но тогда большая обида была.

Руслан, 24 года

Эти ваххабиты, они тоже были. Они везде были – и в Грозном тоже, и до войны они были. Если, конечно, сравнить с тем, что они сегодня вытворяют, тогда они такого ничего не делали. Женщин они просили платки надеть, даже не хиджабы, просто платки, и то женщины удивлялись. Если надо было их пост проехать, платки показывали, и все, до свидания. И сами они ничего такого не носили, не то, что сегодня. Тогда это казалось шоком, люди специально таких объезжали стороной...

Мадина, 29 лет

В девяносто пятом я была в пятом классе, двенадцать–тринадцать лет. Слышала, что-то происходит. Отец решился поехать в Чечню, узнать, что к чему, потому что дядя оттуда приехал, сказал, что пока вроде все спокойно. Но это, наверное, было до того, как федералы зашли. А потом уже в новостях мы слушаем, не пропускаем ни одной передачи новостей, когда было принято решение о входе федералов в Чечню. Разговоры были, что за два часа весь этот конфликт решится. А потом мы услышали, что у нас в селе проходят зачистки. И отец решился поехать, он боялся за своего отца, дедушку. Зачистки – это когда проверяют документы, потому что всех молодых людей федералы считали боевиками.

Отец поехал и сестренку с собой взял, потому что она напросилась: «Я хочу поехать туда, узнать все». А я тоже хотела поехать, но мама говорит: «Нет, ты дома нужна будешь, поэтому оставайся, поедешь в следующий раз». Мы не задумывались о том, что ехать опасно, страшно. Сестренка осталась в Чечне. Отец приехал, привез фотографии развалин, танк на нашей улице стоит, разбитый танк. И удивительно и страшно было видеть эти картины. Он при-

ехал через два месяца. Мама: «А где Зайна?», моя сестра. «А она не решилась обратно ехать, осталась там. С дедушкой, с бабушкой осталась».

Бабушка рассказывала, что, когда были зачистки, они прятались в подвале. К ним особых придирок не было, как только федералы видели, что в доме остались только старики, они уходили. «Все, пошли, здесь только старики». Подвал у нас во дворе, отец копал этот подвал для консервных банок, и вот они прятались туда, матрасы туда спустили. Они очень пожилые были. Один раз была зачистка, бабушка потом рассказывала: «Шел снег с утра, зима была очень холодная. Опять был обстрел, и мы решили спуститься в подвал». Бомба попала на крышу дома, немножко разбомбило во дворе. А они в подвале сидят. Во двор вошли солдаты. Один солдат заглянул в подвал, и увидел дедушку с бабушкой. «Давай, – говорит, – бросай гранату туда, им и так подыхать пора». Бабушка, у нее русский не очень-то. «Бросай гранату, говорю тебе», – приказывает она солдату. Тот еще заглянул, а с ним начали спорить другие. «Не буду я бросать. Они тебе что, мешают?» – у них спор возник. Оказалось, что за них заступились еще несколько солдат, и их оставили в покое. Но они думали, вот-вот закинут гранату, а тогда ходили слухи, что в подвалы закидывают гранаты. Были случаи, когда прямо в подвалах взрывали людей. Бабушка говорит, что очень перепугалась. Дедушка не подал виду, что испугался, ни слова не произнес. После этого бабушка отказывалась спускаться в подвал во время обстрелов. Невозможно передать словами, как она это рассказывала. У нее руки тряслись, она очень переживала. Вот такие моменты тоже вспоминаешь.

А дядю убили. Это мамин единственный брат был. Во время войны он подрабатывал таксистом на УАЗике, чтобы прокормить семью. Это было в 2002-м году, в январе. Он вез одну женщину беременную и парня лет двадцати четырех, впоследствии оказалось, что это был единственный сын в семье, директора школы и еще одного мужчину. Военные их обстреляли, одного сразу насмерть убили. Потом их держали в каком-то разрушенном доме, в развалинах каких-то. До утра их продержали, сказали, что отпустят. Но их расстреляли, чтобы скрыть следы. Расстреляли, положили трупы в УАЗик и подожгли, чтобы сказать, что это боевики были. Но мимо проезжал человек из соседнего села. Он все это сразу доложил в военной части. К этому месту подъехали, как ни удивительно, и милиция чеченская, и федералы, и забрали этих военных.

Водителем той машины был дядя. Дядя вечером не приехал домой, дома все переживали, они слышали выстрелы. Слышали вечером автоматную очередь в селе, потому что там все хорошо слышно, недалеко находится, а утром

дядя не приехал. Они гадали: «Наверное, у соседей остался, потому что обстрелы были, может, он в соседнем селе». Ждали новостей. И вот пришел сосед, наш родственник, двоюродный мамин брат, и сказал, что-то произошло, но непонятно, что. Просили позвать старшую тетю, и она узнала о том, что их убили.

Блокпосты были на каждом шагу. Машины останавливали. Один раз, я помню, ехала из горного села в Грозный, и в Старых Атагах увидела, что чеченские женщины перекрыли дорогу. Пропали ребята и девчонки, одиннадцатый класс. И женщины закрыли полностью дорогу, не пропускали ни солдат, ни танки. БТРы стояли и машины чеченские, много народу собралось, огромная толпа, и они не пропускали никого. Помню, часа два простояли там, наконец, новости пришли, что на след напали. Но непонятно было, кто их увез. Они требовали от федералов вернуть детей, потому что их увезли на БТРах без номеров. По-моему, там было четверо или пятеро мальчиков и три девочки. Их было тридцать женщин, они стояли живым барьером.

Аминат, 67 лет

Погибали люди. Бомбили село, и люди погибали. Очень было тяжело. Сложные чувства от недоумения, от желания понять, кто же виноват в этом озлоблении и ненависти. Особенно ненавидели люди летчиков. Летчики бомбили безжалостно. Ковровые бомбардировки устраивали. Подряд все. А потом прямые контакты мирного населения с военными, особенно во вторую войну. Когда мы столкнулись с зачистками, то поняли, что военные ведут себя не лучше летчиков.

В то же время мы слышали, что иногда местные жители в селах наблюдали, как летчики подлетают к селу, пролетают над ним и бросают бомбы где-то вокруг и рядом. Затем, отбомбившись, улетают. Они вынуждены были выполнять приказ, но выполняли его по-своему, пытались пощадить людей. Это люди тоже оценивали. Знаете, по-моему, они были в положении тех летчиков, которые когда-то бросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Но все-таки они бросали их...

В разные периоды было разное состояние, но, в конечном счете, я быстро поняла, что люди существуют отдельно от политиков. Во время войны я познакомилась со многими людьми – это русские, иностранцы, представители разных народов. И я увидела, что у людей, не развращенных властью и политикой, есть адекватная оценка того, что происходит – что эта война несправедлива, происходят жестокие преступления, что народы не виноваты в том, что творятся такие жестокости. Я поняла, что люди способны дружить,

несмотря на то, что идет война между политиками, которая предписывается и народам тоже. Война шла с Чечней именно как с враждебным государством. Не как с внутренней территорией, не как установление порядка и справедливости, не как война с бандитами, а как война с народом.

Война изменила мою жизнь. Я работала в университете, и после войны я решила туда не возвращаться, а заниматься общественной работой. В первую войну, после того, как прошел первый период, мы наблюдали, как себя ведут военные, как они расстреливают без разбора людей, расстреливают даже животных, скотину. Здесь у нас, в этом районе, где я сейчас живу, собралась группа женщин, и мы решили, что нам надо как-то заявить, что все это неправильно и несправедливо. Мы наивно полагали, что мировое сообщество должно повлиять, остановить эту войну и преступления. Нельзя под вывеской «война» совершать преступления против мирных людей. Воевать должны друг с другом военные, но есть дети, женщины, беспомощные люди, которым нет никакого дела до войны. Мы тогда провели несколько митингов с плакатами, нарисованными на бумажных обоях. Мы видели, что проезжающие мимо на танках военные реагируют на это тем, что показывают нам неприличные знаки, что-то выкрикивают против митингующих. Это нас поощряло – значит, видят. Приехали посмотреть на митинг представители ОБСЕ. Мы тогда узнали, что есть такая организация – ОБСЕ. С ней у нас сложились интересные отношения. Они приезжали на митинг и записывали все, что мы им рассказывали. О том, что каждый день кого-то убивают, кого-то расстреливают, у кого-то разрушили дом, у кого-то забрали все вещи из дома.

Появились журналисты. Мы охотно делились с ними той информацией, которую имели. И мы обнаружили, что кого-то это интересует. Для нас это было открытие. И мы стали записывать и собирать эту информацию. Мы решили, что если весь мир ничего не знает о том, что происходит в Чечне, то надо, чтоб он об этом узнал. Когда он узнает, то вмешается ООН. ООН почему-то тогда считали организацией, способной повлиять на ситуацию. Но мы вскоре поняли, что это самая бессильная организация.

Три года после первой войны – это был период внутренней смуты в Чеченской республике. В ходе войны рядом с воюющими за независимость появились люди, у которых была другая мотивация. Они воевали как бы за религию, за новую, истинную религию. Эта новая истинная религия или религиозное направление тогда уже обозначилось как ваххабизм. В Чечне появилось радикальное исламское крыло. А воюющие разделились на две части – те, кто говорил только о независимости Чеченской республики, и те, кто

говорил об исламском джихаде. В этом было противоречие. В республике происходили столкновения этих двух сил, они боролись. Например, Масхадов был сторонник светской республики, и против него были некоторые военачальники. Они считали, что он – приспособленец, что он идет на переговоры с Россией, что надо воевать до последнего. А Масхадов искал возможности диалога, возможности остановить войну. И она была остановлена благодаря Масхадову.

Выборы прошли с энтузиазмом. Все знают, что единственными справедливыми выборами были выборы Масхадова. Удивительно, но целые потоки людей, по своей инициативе шли на избирательные пункты и открыто голосовали за Масхадова. После этого в Чеченской республике ни разу не было выборов, которые можно было бы действительно назвать выборами. Все остальное – искусственно организованные мероприятия, но не выборы. Выборы были тогда. И Масхадова народ выбирал, хотя в нем было много такого, что можно было критиковать и не принимать. Тем не менее, за него голосовали и чеченцы, и нечеченское население республики.

Когда началась вторая война, нам пришлось в октябре покинуть республику. Мы отправились в Ингушетию. Это была жуткая дорога. Много колонн беженцев выходило в разные стороны из Чеченской республики. Многие люди пострадали в пути, беженцев бомбили, расстреливали. Колонна, которая шла в Ингушетию по ростовской трассе, была расстреляна безжалостно, жестоко. И моя семья попала в эту колонну. Я видела много трупов на дороге. Это был целенаправленный расстрел беженцев. Вот чем была ужасна эта война. Эта война проходила по принципу одного известного политика, который сказал, что надо пустить в город Грозный газ, и пусть все будут мертвые. Когда ему сказали: «Но там же есть и ваши соотечественники, русские», он ответил: «Ну и что, это неизбежные потери при войне». Расстрел этой колонны как раз и был таким методом. В этой колонне была немалая часть нечеченского населения. Я видела, как шли русские бабушки. Пешком. На тележечках везли свои пожитки и шли. Я видела, как старики, русские старики, детские коляски использовали, потихонечку толкали их вперед и шли по этой трассе. В 12 часов дня прилетели самолеты, они резко пикировали над колонной и расстреливали ее ракетами. И продолжали расстреливать до самого вечера. Это было кровавое побоище.

В Ингушетии мы нашли знакомых, и они нас приняли. Во дворе у них был домик небольшой, в одну комнату, и мы большой семьей, человек десять, в этой комнате жили. Спали в этой комнате, кушали в этой комнате. Но приняли нас очень хорошо в Ингушетии. С благодарностью я вспоминаю жизнь

беженцев в Ингушетии, не только нашу. Там потом были созданы большие лагеря. И в этих лагерях Ингушская республика вместе с международными организациями помогала беженцам выжить. Множество ингушских семей искренне помогали чеченским беженцам. Дети ходили в школу, во дворе они всегда играли вместе. Но, в принципе, беженская жизнь – тяжелейшая. Она осложнена различными процессами, взаимоотношениями. Ингушетия проявила человечность. И это было решение их тогдашнего лидера – Руслана Аушева. Все-таки от политической воли первого человека многое зависит. Ингушетия завоевала себе благородное имя и высокую честь на многие века вперед. Об этом надо говорить и говорить. Я была в Ингушетии с 2004 года, пока не уехала в другие места. Но потом снова вернулась туда же, и только в 2007 году я решила вернуться в Чеченскую республику.

Я работала в общественной организации. Я нашла в этом смысл жизни. Для меня очень важно было работать для беженцев, для людей. Это была осмысленная жизнь. Мы помогали беженцам, помогали всем, у кого возникали тяжелые проблемы, связанные с войной. Мы организовались, и люди концентрировались вокруг, втягивались в нашу сферу. Люди говорили друг с другом, объединялись, пытались оформить свое противодействие, неприятие, сопротивление. Это был период гражданского роста для чеченского общества и для гражданского общества всей России.

Когда война подходила к концу, у меня были встречи с разными людьми, задействованными в политике, в военных действиях. Мы обсуждали текущие вопросы. Ну, например, наше требование, чтобы во время зачисток военные приходили с документами, без масок, чтобы военные машины, БТРы, танки были с номерами, чтобы арестованных людей отвозили в определенное место, чтобы они не исчезали бесследно.

Мы сталкивались с военными, и мне было очень трудно разговаривать с ними, как с обычными людьми. Я думала, вот этот человек, он, может быть, расстреливал вслепую людей, о которых ничего не знал, и не было никаких доказательств их преступной деятельности. Он расстреливал без суда и следствия. Человек такого типа, как Буданов. Для меня это было тяжелым моментом. Мне приходилось беседовать с ними, как с нормальными, адекватными людьми. Было трудно видеть в этих военных людей. Но это надо было делать, и мы это делали, потому что знали, для чего мы это делаем. Любого озверевшего человека надо выводить из этого состояния. Может быть, в этом смысле наши встречи, контакты, беседы с этими людьми были оправданы. Хотя многие говорили, что с ними разговаривать бесполезно.



Грозный, 2009 г.



Грозный, стадион Динамо, 2002 г.



Грозный, центральный рынок, 2002 г.



Грозный



Грозный, улица Кирова, 9 апреля 2002 г.



Грозный



Чечня, место и год неизвестны



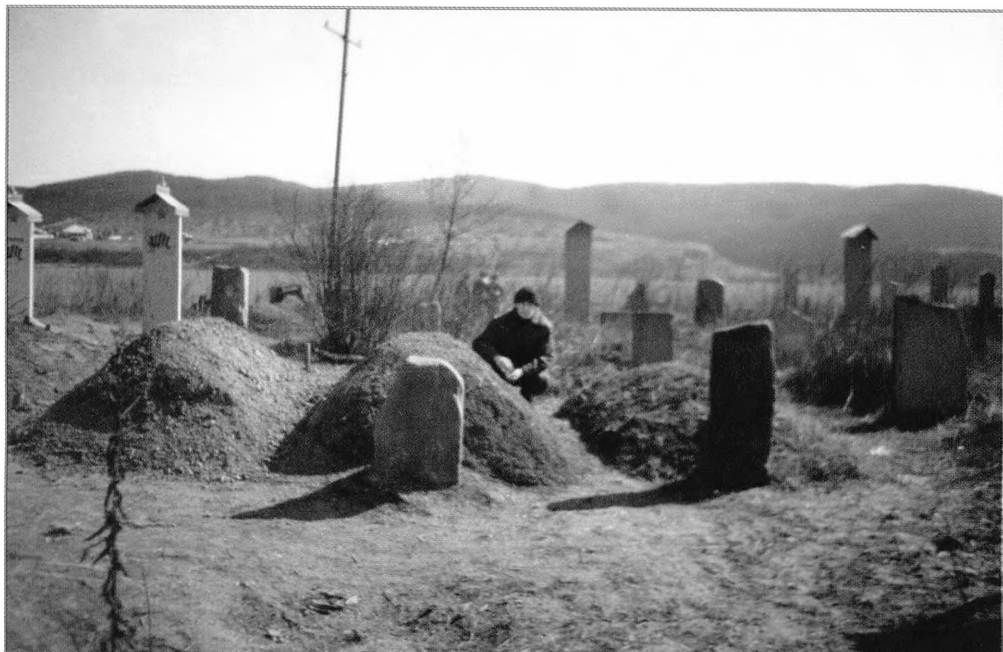
Развалины школы. Грозный, 2001 г.



Чечня, место и год неизвестны



Митинг, Чечня, 2002 г.



Грозный



Палаточный лагерь для беженцев «Спутник», Ингушетия, 2001–2002 гг.



Палаточный лагерь для беженцев «Спутник», Ингушетия, 2002–2004 гг.



Лагерь для беженцев СМУ, Ингушетия



Лагерь для беженцев, Ингушетия



Митинг, Чечня

Но нам казалось, что это необходимо, без этого диалога мы вообще никогда не придем к положительному финалу.

Волей случая, или это было закономерным и естественно, но я попала в круг людей, которые организовались, сплотились, чтобы оказывать сопротивление войне, жестокости, несправедливости. Я поняла, что я не одна. Я обнаружила, что нас много в разных странах, на разных континентах. И это давало мне силу и убеждение, что это лучший путь для человека. Жизнь наполнялась смыслом, легче было рисковать, отказываться от жизненного комфорта, от отдыха, в конце концов. Тратить время и силы только на это, отдавать жизнь свою.

Меня это война сделала более открытой. Я поняла, что я представляю не только свой народ, свою землю, свой узкий круг, но я часть человечества, у которого существуют какие-то общие понятия о добре и зле. Я не только человек из Грозного, с Кавказа, не только человек из России. Я человек этого мира, этой планеты. Мне так лучше жить, жизнь становится более осмысленной. Главное, что это произошло не только со мной. Это не было чудом, которое только на меня снизошло. То же происходит с большинством людей, просто многие об этом не думают и не осознают. Но этот процесс идет. Люди действительно раскрылись, они меняются. В этом я вижу большую надежду. И поэтому я говорю, что наши власти могут не обольщаться, что любимый народ боготворит их и воспринимает их так, как они себя преподносят. Народ дает им заслуженную оценку. Просто пока это не может быть выражено открыто. Когда-нибудь люди дадут оценку и времени, и людям, и политикам. Но это будет другая оценка, не та, которой они ожидают. На новых памятниках будут другие надписи.

КОНЕЦ

Как и когда закончилась для вас война?

Аркадий, 35 лет

Что это вдруг она закончилась-то? В 92-м году был первый шанс, когда надо было либо грохать Дудаева сразу, без развязывания войны, либо отпустить Чечню, давать ей независимость. И в 2000-м был шанс, если бы мы туда пришли действительно наводить порядок, а не мстить. Что делать сейчас со всем этим, я не имею ни малейшего представления.

Я уехал с первой партией и получил почти все «боевые», хотя долларов на 400 меня, конечно же, Родина кинула. Это было 4 апреля 2000-го года. Ну, еще месяца два я увольнялся. Надо было сдать каску, бушлат, еще что-то. «Где, – говорят, – твой бушлат?» Я говорю: «Какой бушлат, вы что, смеетесь что ли?» Они говорят: «Родина тебе выдала бушлат, сдавай!» Я говорю: «Да нет у меня никакого бушлата, там такой бушлат, что ничего от него не осталось». – «Ну, тогда вот – минус 10000 рублей. Где твои штаны?» – «Какие штаны?» – «Ну вот, еще минус 10000 рублей». Вот так нас всех поимели.

Что было самым тяжелым? Сама война. Это не было ощущением абсурдности чего-то, ты сам был погружен в абсурд, ты в нем жил. Никто никаких задач не ставил, ты не понимал, зачем ты здесь. Это существование в земле, в крысиных ямах, когда у тебя совершенно сносит голову, меняется мировоззрение. Психика меняется, когда тебя пытаются убить, когда ты в ответ кого-то пытаешься убить. Право, порядок, правомерность войны, виновность-невиновность Буданова, виновность-невиновность Ульмана. Эти категории отсутствуют. Там ничего такого нет. Ты попал, и крышка над тобой закрылась с этими гуманистическими, правозащитными понятиями. Ты внизу находишься, под этой крышкой, в коллекторе. Там совсем другие вещи важны – где найти похрять, где поспать, найти тепло, как выжить. Там вы очень приземленно, животными категориями мыслите.

Физически было плохо, именно физически плохо в Моздоке, когда первый раз я увидел эту сожженную технику. Физически плохо было, когда мы узнали, что убили ребенка со стариком, мне было очень плохо, до рвоты. Но это какие-то моменты, вспышки, а потом возвращаешься в состояние апатии и в этом состоянии находишься все остальное время.

Водка не помогала. Пьяниц у нас не любили. Их избить могли. Потому что, если ты пьешь, ты тем самым подставляешь всех остальных, перестаешь

быть боеспособной единицей. Я в Чечне пил один единственный раз, но напился до свинского состояния. Вообще, водку мой организм не переносит, мне можно крышечку от водки налить, и мне уже плохо. А там я, думаю, выпил бутылки три в одиночку – и не брало, совершенно не брало. Просто ноги перестали ходить, а голова – светлая, ясная. Много анаши курили. Это как-то более или менее расслабляло. Но ничего не помогало, чтобы вернуться в человеческое состояние, такого ничего не было. Только гибель. А так ты постоянно в состоянии животного находишься. Я ждал, что меня убьют. Я туда поехал в полной уверенности, что со второй войны не вернусь. Но не сложилось...

Марем, 49 лет

А она закончилась? Война закончится тогда, когда закончится в наших душах. Она все равно еще идет, по-моему, и в сердцах россиян, и в сердцах чеченцев. Идет потому, что мы по-настоящему не простили друг друга. А чтобы простить, нужно выговориться. Даже с теми ребятами, которые были в Чечне. Нужно понять, что они хотели здесь, и какие цели мы преследовали.

Сацита, 48 лет

Война? Даже не знаю... Для меня она, наверное, закончилась, когда я на работу пришла, когда я уже могла ходить и смотреть, когда тишина наступила. Еще убивали, зачистки шли, но это была не моя война. Моя война закончилась тогда, когда я вышла на улицу в тфеляках и пошла себе спокойненько по городу. Убивали, зачищали, но я шла гулять. Для меня она закончилась. Да, скорей всего.

Аза, 23 года

Для меня война закончилась, когда я уже не видела ее следов. Пока я это видела, эти дырявые ворота, пробитые осколками, эти здания, я не могла сказать, что война закончилась. Все было нормально, вроде бы свет, газ дали, вроде бы все счастливы, но пока еще следы войны были. А потом это все исчезло, появились яркие, хорошие картины. И уже реже возвращаешься к тем событиям. Конечно, это не самое главное, что здания построили, но на самом деле это важный момент, потому что исчезло то, разрушенное. Когда того уже не видишь, это, конечно, радует, но не сказать чтобы особый был такой восторг, оживление.

Мадина, 29 лет

Следы войны были. Дома были разрушены, у нас во дворе три дома, один из них полностью разрушен был. Эти ворота, прострелянные железные, валялись на дороге. Танка, правда, уже не было, видимо, оттащили танк. Где-то до двухтысячного года в начале нашей улицы стоял танк. Огромный танк, который был разбит во время первой кампании.

И только в две тысячи седьмом, восьмом, девятом, когда я университет заканчивала и ездила на сессию, я стала замечать, что там люди ворота поменяли, там окна поставили, крышу починили, то есть постепенно, кто как мог, восстанавливали свои дома. В течение последних шести–семи лет, потихонечку.

Али, 22 года

Лично для меня война закончилась в 2009-м году, только тогда, когда прекратились взрывы. Я был свидетелем двух взрывов, которые были у нас в Грозном. Я учился в институте на втором курсе. Выхожу из института, спускаюсь по лестнице на первый этаж, там знакомая стоит. Мы разговорились с ней, пошли вместе в магазин. И вот мы выходим из здания института, а тут рядом МВД находится, два милиционера охраняют вход и выход. И я вижу, машина подъезжает, что-то там происходит, кто-то к кому-то подошел, и взрыв. Меня и ее, нас волной обратно забросило в здание. Мы встали на ноги, а там охранник наш в панике, не знает, что делать, говорит: «Заходите, заходите, второй взрыв будет, забегайте! Быстро, быстро!». А я просто стою и смотрю. Потом, долго, два месяца, запах крови был. Это летом было, солнце печет, вот и запах. Сидим на занятиях, а дышать невозможно было.

Потом второй взрыв через полгода прогремел. После этого у нас еще одна операция была. Сидим на занятиях, нам говорят: «Пока идет спецоперация, никого не выпускать», охране приказали ворота закрыть, все аудитории закрыть, чтобы в случае чего к нам никто не смог добраться. Но мы наблюдали из окон института, прямо напротив нас есть такое здание, там много магазинчиков. И на втором этаже, говорят, засели боевики. Военные пригнали БТР и начали бомбить, взорвали квартиру. Ну, это прошло как-то спокойно. Прихожу домой, вижу, по телевизору показывают спецоперацию. Было два боевика, говорят, но трупов не показывают. Выселяют жильцов – жильцы выходят из домов спокойно, улыбаются. То есть, это был обычный пиар. Мне до такой степени тошно было. Никаких там боевых действий, ничего такого там не было. После этого стало тихо. Для меня на этом война закончилась.

Минат, 26 лет

Для меня война продолжается. Она закончится, когда люди перестанут подрываться на минах из-за того, что до сих пор не очистили поля и те места, где проходили боевые действия, даже в Грозном. Пострадало много ребят, некоторых из них я знаю. Два года назад 18-летний парень с друзьями, школьники, 11 класс, зашли в спортзал. Кто-то из них принес какую-то найденную банку, и они собирались из нее сделать фейерверк. И когда кому-то позвонили на мобильник, банка взорвалась. Два парня, которые сидели рядом, сразу погибли, а тому, который отошел, оторвало руки и выжгло глаза. Для меня все это продолжается. Мне кажется, до тех пор, пока у нас будут погибать парни, она будет продолжаться. Когда кто-то погибает, я начинаю думать о его маме, о семье, о нем. Ну, обо всем. И, наверное, так и будет все это продолжаться.

Веда, 28 лет

Ну, война-то, может, и закончилась, но не те проблемы, которые она оставила. В глазах многих чеченец – это уже не только бандит, не только «чурка», но он необразованный и, конечно, опасный. Вот такие последствия остались. Я не знаю, может, через несколько десятков лет этот стереотип забудется, но не сейчас. Я уже не говорю о разрушенной психике, о болезнях, которыми болеют люди. Вот такие последствия.

Руслан, 24 года

Мне кажется, война до сих пор не закончилась, потому что все, что сегодня творится, говорит о том, что эти ужасы мы переживаем до сих пор. Это сидит в людях, нельзя это вырезать из жизни. Как бы ты жизнь не менял, но в человеческих душах все это есть. Получается, что у нас большое общество, потому что эти войны – две, даже три подряд – такой отпечаток оставили у каждого в душе. И все эти болезни тяжелые – тоже последствия войны. Сколько у нас родственников от онкологии умерли, сколько болеют. И в каждой семье так. Нет ни одной семьи, у кого война не унесла бы родственников. С этим сложно жить, но нужно работать, работать...

Лиля, 51 год

В последние годы, когда обстрелов и зачисток уже не было, и мы мирно жили, к нам на прием стали приходиться по жилищным вопросам, меньше стало просьб о розыске без вести пропавших, убитых, похищенных. Меньше стало, но их родственники до сих пор приходят к нам. Я всегда думала:

«Вот День Победы, 9 мая. Как они его отмечали! Такое торжество было!» Будет ли когда-нибудь у нас такой день? У нас такого дня не было. Война продолжается. Вот 2009-й год, казалось бы, война закончилась, отменили режим контртеррористической операции, но при этом лучшая из нас, Наташа (речь идет о правозащитнице Наталье Эстемировой – *прим. ред.*), была убита за то, что говорила правду. Мне кажется, до сих пор эта война не закончилась, потому что больше трех тысяч без вести пропавших – в их семьях она никогда не закончится. Пока я с этим работаю, наверное, я тоже не могу себе позволить жить только семейной жизнью, наслаждаться тем, что у меня все хорошо. Наверное, в нашей республике только идиоты могут быть счастливы и спокойны, пока все это продолжается.

Аслан, 24 года

То, что война полностью закончилась, я не ощущаю и сейчас. Но, если говорить о российской армии, то уже в году 2004-м солдат стало меньше. Они сейчас просто живут, базируются в Ханкале, есть такой район в Чечне, недалеко от Грозного. Сейчас большинство военных и милиция – это сами чеченцы, поэтому сказать слово «война» я сейчас уже не смогу. Война была в 2000–2001-м, в 99-м годах, вот это была война. Когда бомбили и стреляли, вертолеты, самолеты. Убийства и беззаконие – это, конечно, до сих пор все есть, но это уже другая история. Когда я стал меньше видеть или почти не видеть русских солдат, я понял, что все, произошел переход в гражданскую войну.

Магомед, 27 лет

Вторая кампания до сих пор не закончилась для нас. Зачистки не проводятся, конечно, но могут зайти в дом, забрать кого угодно. Это все еще продолжается. Раньше это делали прикомандированные, теперь это наши, чеченцы делают. Все, ничего не изменилось. Не в таких масштабах, конечно, но страх еще есть. Никто не уверен, что завтра он где-то не окажется.

Аминат, 67 лет

Я считаю, что этот конфликт не завершен. Должно наступить время, чтобы мы этот конфликт подробно разобрали и переосмыслили. Горько сознавать, но и сам конфликт и все ужасы, которые мы пережили, сыграли и свою положительную роль. Например, из Чечни уехало много людей в Европу. Через какое-то время они будут возвращаться, но даже если они не вернуться назад, техническая революция произошла в сфере информации. Границы разруше-

ны, хотя они формально есть, но информационной блокады нет, она стала невозможной. И это большой плюс. Это значит, что, находясь в Чечне, мы живем в большом мире. Мы имеем возможность сравнивать, что хорошо, и что плохо; что безобразно, жестоко и бесчеловечно, и что, наоборот, гуманно и красиво. Нас теперь трудно обмануть. Люди слышат ложь, лицемерие, но с другой стороны они видят другое, и у них есть возможность дать всему адекватную оценку. Мы не хотим новой войны, с оружием в руках идти на баррикады, разрушать стены, и так далее. Но идет естественный процесс, которым – ни политики, ни военные не могут управлять так, как они хотят. Люди выбирают тот путь, который для них лучше, ту дорогу, которая дает им комфорт и достоинство в каждой ситуации, каждый день.

Поэтому пройдет какое-то время, и люди придут к переоценке того, что было, а современную власть они и так оценивают адекватно. Политическая власть не может обольщаться насчет любви народа к себе, и поэтому эта власть слаба, эфемерна и держится на оружии. Малейшее изменение в экономическом, политическом раскладе приведет к тому, что разлетится это политическое здание, которое они построили. Оно разрушится, как стеклянный домик, и все окажется на виду. Нельзя сказать, что впереди безнадежность, на самом деле впереди свет. Я вижу такую действительность. Иначе для меня не оставалось бы другого выхода, как уехать подальше и забыть эту страну, это общество, этих людей. Но это тоже не спасение, это выход только тогда, когда у тебя полное отчаяние. Я считаю, что мы еще не пришли к полному отчаянию, что у нас еще есть свет в конце тоннеля.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ

Что с вами стало после войны? Как вы живете?

Сацита, 48 лет

Изменились полностью приоритеты и ценности. Все меркантильные интересы ушли – одеться, что-то приобрести, гоняться за золотыми побрякушками. Я скорей аскеткой стала. У меня есть то, что мне нужно. Мне важны мои друзья, мой дом, моя мама, семья. Конечно, я во многом стала другой. Многие ценности ушли. Я стала очень набожной. Я боюсь что-то сделать не так. Помните, у Маркеса: «Стоя у стены в ожидании расстрела Хосе Аркадио Буэндиа вспомнил старого цыгана» – я тоже стояла у стены, и в любой момент мой жизненный путь мог оборваться. Я не знаю, когда мой последний час, но я хочу уйти отсюда с убеждением, что я правильно прожила жизнь. Чтобы не было людей, которые говорили бы: «Она такая взяточница, такая стерва, такая...» Я жила очень скромно в этой жизни, с детства обделенная весельем, красивой одеждой, дорогими игрушками. Сочиняю сказки. Я уходила в свой мир сказок, и там жила. У меня был свой внутренний мир (при всей моей болтливости), в который я никого никогда не допускала. После войны мне уже ничего не надо, только правильно и честно жить. В два телевизора я смотреть не буду, в двух квартирах одновременно не проживу, на две суперкровати я не лягу спать. Одну бы нормальную, скромную кровать.

Дервишем я стала бы, лохмотья надела и ходила бы, толпы людей за собою водила, если б это можно было. Но этого мне нельзя.

Марем, 49 лет

У меня были ценности, русская классическая литература, поэзия. Отец прививал нам то, что относилось к человечности, добру. Восприятие жизни совсем другое было. А сейчас, когда я поняла, как много черствости в людях, я боюсь искать своих подруг-друзей. Вдруг из-за того, что я – чеченка, а они русские, между нами теперь окажется большая пропасть. Я стараюсь сохранять то прекрасное, что у нас было, и живу этим. Я и сейчас дружу со многими русскими. Я не ссорилась с народом, это была грязь большой политики, нефтяная война была. На самом деле эта война была не чеченская, это была российская война. Знаете, когда приходят в твой дом и убивают – это просто невозможно – или у тебя должно разорваться сердце, или ты должен сказать «нет», или ты должен пытаться договориться с этими людьми. С нами договариваться никто не хотел, от нас нужно было сопротивление, нужна была война.

Она случилась. В итоге было две страшных войны, во время которых столько молодежи погибло!

Прошли войны, и те же полномочия, которые просили во время войны правительства Дудаева или Масхадова, эти полномочия получил сегодня Кадыров. И что, хорошо это для чеченцев сегодня? Нет, не хорошо, понимаете? Сегодняшняя власть с молчаливого согласия российского правительства строит красивые здания, но не для народа. Нет уже моего города, моего Грозного. Исчезли старые здания, которые я очень любила – все барские дома, которые можно было восстановить, а мы разобрали их на кирпичи, потому что под нулевое строительство можно много денег списать, поделиться с кем угодно и так далее.

Ну, конечно, идет замена ценностей. Вот это национальное платье и это арабское обертывание вокруг головы – это не чеченское. Идет подмена духовных ценностей, я считаю, что этим много вреда наносится. Я, например, человек работающий, получающий какой-то доход, имеющий средства к существованию. Я понимаю, что вся эта роскошь – не для меня, что появилось сильное расслоение общества. Наши беды еще не закончилась, я считаю.

Вот эта страшная беда, что в Чечне случилась, она до сих пор остается не выговоренной, до сих пор волнует память и умы. Многие умирают от инфарктов. Я в своем возрасте получила расширение сердца, на днях узнала, что у меня расширение. Вот это понимают ли, осознают ли в России? Это же не только беда Чечни. Это беда России.

Надо все точки расставить. Если мы прощены, если нас любят, то мы должны понять, что мы прощены, и нас любят. А не так, что я приехала в Москву в платке и должна его быстро спрятать, чтобы меня не избili или не забрали в милицию. Или вы приехали в Чечню и стараетесь быстро надеть юбку и платок, чтобы вас тоже не забрали и за это не наказали. Вот когда мы поймем, что Россия – наш общий дом, и перестанем выдвигать эти лозунги, что если в России большинство русских, то остальные должны подчиняться им. Вот эти националистические лозунги, они и привели к этой беде и приведут еще ко многим бедам, мне кажется. Мы жили и в советское время, когда наказывали за то, что молишься, когда преследовали наших мулл. Мы все равно сохранили свою культуру, и религиозную, и этническую. Это от человека зависит, верит он в кого-то или во что-то, или не верит. Иногда я думаю, неужели элементарных вещей в России политики не понимают? Почему они все время работают на распад государства? За что они так не любят Россию?

Конечно, я жива-здоровая, есть кусок хлеба, есть внуки. Но я – человек, пустой внутри. Потому, что очень больно внутри, настолько больно! Когда я написала несколько стихотворений и показала своему другу, он сказал:

«Ты знаешь, мне хочется стреляться после них». А я, видимо, эту боль свою в них вложила.

Я – человек, который много смеется, и почти всегда неискренне, потому что мне очень больно... Я понимаю, поддерживаю какие-то внешние вещи. Я знаю, что даже сейчас ничего не закончилось. Я хочу, чтобы все, наконец, закончилось, чтобы признали ошибки, чтобы народы были прощены, чтобы эти жуткие преследования, убийства, внесудебные казни прекратились, чтобы позволили чеченцам быть чеченцами, не старались делать их арабами или еще кем-то. Мы – народ со своей отдельной культурой, историей, со своей религией.

Когда я бываю в любом российском городе, я захожу в храмы, знаете, почему? Мне интересна культура этих людей, интересно, как эти храмы построены, что там нарисовано, я ищу объяснения. Я не знаю, осуждается ли это моей религией, я не спрашивала.

Что мы делим на этой большой земле? Нефть? Но нефть когда-нибудь закончится, и как мы будем после этого жить? Об этом нужно думать. И не говорить неправду жуткую, прекратить показывать эти дешевые фильмы по телевизору. Признаться, что Басаев и все остальные были руководимыми бандитами, не нами придуманными. Всем же известно, что он был ГРУшником и воевал в Абхазии на стороне России. Это известно. Надо сказать народу, что это была наша ошибка. Сказать и российскому, и чеченскому народу: «Да дружите вы, ради Бога! Простите только за детей ваших, убиенных без всякого смысла».

Элла, 71 год

Я, вероятно, стала более зрелой, может быть, меньше иллюзий стало. Я стала понимать, что такое наша власть, и еще поняла, как опасна милитаризация сознания. Я поняла, что принципы ненасилия этой системе насилия очень вредны и опасны. Поэтому сейчас мы продолжаем просветительскую программу для людей, чтобы люди знали, как им действовать, чтобы брали на себя ответственность.

У меня глубокое уважение к чеченским женщинам. На Марше Мира во Франции, в Бретани я была вместе с чеченкой из Грозного, которая защитила диссертацию по теме посттравматического синдрома. Она сказала, что у многих чеченских женщин появилась склонность к суициду. Это страшный симптом. Видимо, их энергетика, которая меня так восхищала в первую чеченскую войну, была задавлена этими войнами.

Ну и сейчас в Чечне идет скрытая война, потому что общество задавлено. Много людей бежало, диаспоры в Европе наводнены беглецами. В советский период я с чеченцами не встречалась, о депортации знала из Солженицына.

В моем представлении чеченцы в ГУЛАГе были самыми активными сопротивленцами, и когда видишь сейчас этих чеченцев, которые спокойно подчиняются власти, это удивляет. Не удивляет, а поражает и расстраивает. Просто общество очень сильно подавлено.

Аминат, 67 лет

В принципе, можно сказать, что я занимаюсь тем же, чем занималась во время войны. Но прежде всего, я каждый день занимаюсь внутренней работой, ищу себя. И каждый прожитый день меня развивает, дает много нового.

Этот конфликт не закончился, потому что он находится в духовном мире. Это конфликт души, не просто политический конфликт. Поэтому каждый день у меня есть потребность анализировать, что я делаю правильно и что неправильно. Мы узнаем новости, происходят события, мы включаемся в эти события, мы должны вырабатывать свое отношение к ним, давать свои оценки. Я это делаю, мой труд должен включать эти процессы. Я не живу в отрыве от того, что происходит, я участвую в этом, я реагирую. И это моя личностная позиция.

Я хочу дожить до того времени, когда Россия станет похожа на европейское государство. Тогда и в Чечне будет хорошо. То есть, чтобы человеку стало комфортно жить. Мне бы хотелось стать свидетелем хотя бы начала этого процесса. Я не сомневаюсь, что рано или поздно это произойдет. Если с этой точки зрения смотреть, если верить, что это произойдет, то даже не важно, доживу ли я. По крайней мере, другие будут жить в этом обществе. Для себя лично я хотела бы иметь возможность продолжать свою деятельность, участвовать в этих процессах, быть причастной ко всему хорошему, что делается вокруг. Я хочу, чтобы больше не было таких катаклизмов, чтобы не повторился этот ужас нигде в нашей стране, ни в Чечне, ни в другой республике, ни в другой области. И в Москве чтобы этого не было.

Рамзан, 57 лет

Несмотря на то, что на первый взгляд люди не изменились после этих двух войн, но все же те, кому была свойственна доброжелательность, мягкость, чувствительность, эти люди стали еще доброжелательнее, еще мягче и чувствительнее. Циничных людей война сделала еще более циничными.

Я думаю, что отношусь к категории доброжелательных.

Аза, 23 года

Можно сказать, что сейчас я живу, если сравнить с тем, как было до этого, очень хорошо. Я учусь, выбрала профессию, которая мне нравится, занимаюсь делом, которое мне нравится. У моей семьи тоже все хорошо, родители уже на пенсии и как-то живут спокойно, доживают свою старость, сестры

все замужем, брат тоже учится. Ни в чем нужды нет, мы многое можем себе позволить. Сейчас именно дома у нас все хорошо, но и в селе в целом тоже, если не смотреть на остальные общественные проблемы.

Лиля, 51 год

У меня есть чувство вины перед детьми, я это чувствую. Мы их лишили детства из-за нашей неразумности, неразумности взрослых. Я стараюсь как-то восполнить эти пробелы, и все мои проекты связаны с детьми и молодежью. Это образование – мы по селам организуем классы для неграмотных детей и подростков, которые из-за войны не смогли учиться, так и остались неграмотными. Уже около трехсот детей мы выпустили из таких классов. Мы занимаемся профессиональным обучением сельской молодежи, чтобы они могли прокормить свои семьи, у нас работает проект по правовому просвещению молодежи. Есть и традиционные формы работы – воскресные клубы, реабилитационные центры. Война очень сильно сказалась на психологическом состоянии и взрослого населения, и детей, но государство не проводит такой масштабной реабилитационной программы, которую должно было бы проводить. Поэтому вся тяжесть этой работы ложится на общественные организации.

Наталья, 72 года

Я живу в Москве. Да мне и некуда возвращаться! Дома нет. Мои знакомые после того, как это со мной случилось, все оттуда уехали! Там было несколько русских семей, в городке, где я жила, они все уехали. Никого нет!

Возвращаться не к кому и некуда!

Веда, 28 лет

Война – это все-таки переживание, переезд – это тоже стресс, у меня даже появилась какая-то заторможенность. Все эти негативные изменения, которые происходят при переезде, дают о себе знать.

И все-таки ситуация меняется в лучшую сторону: нет войны, все строится, все больше молодежи занимается правозащитной работой. Если не начнется третья война, все должно потихонечку наладиться. Из позитива – я могу сказать только, что нет войны. Проблемы есть – экономические, политические. У нас плохое образование, медицина. Это поколение, которое выросло, не училось последние 10–20 лет, но они уже занимают посты везде. Неграмотные среди них могут быть, необразованные, это дает о себе знать.

Я понимаю, что это сразу не получится, но, на мой взгляд, везде в России люди должны поменяться. Они должны, во-первых, любить то, что они делают, добросовестно к этому относиться, и быть добрыми. Потому что – и

там, и здесь – одна ненависть, только о себе думают. В Чечне пока все думают о своих кошельках. Одни нищие, другие богатые, на работу берут только за деньги или своих родственников, поэтому там – только деньги. Чтобы пойти на пенсию, нужны большие деньги, везде требуют деньги. Казалось бы, люди пережили войну, потеряли близких, должны быть другу к другу добрее, но они настолько себя плохо ведут по отношению друг к другу.

Все обиды, ненависть у меня уже пропали, потому что я поняла, что проблема не во мне, а в человеке, которого что-то не устраивает, поэтому он так себя ведет. Ну, это психология. Есть такой анекдот, когда дедушка на мосту в Питере идет с тростью, кто-то к нему подходит, отбирает трость и начинает его бить, колотить. Ну, дедушка поднимается, берет свою трость и говорит: «Мальчик, а ведь проблемы у вас, а не у меня!» Ну, и здесь так же...

В Чечне сильны традиции, у нас традиционная семья, вот есть «мы» – и есть «другие». Сейчас это полностью стерлось. Для меня важно только, чтобы сам человек был нормальный. Я уже не делю на «своих» и «чужих». Может быть, моя семья еще делит, но я нет. Отец говорит, что если выходить замуж, то только за чеченца, потому что есть «мы» и есть «другие». А для меня важен просто человек, не его национальность, не религия, ведь хороший человек – он и есть хороший человек. Меня окружают хорошие люди на моих двух работах, поэтому у меня таких проблем нет. Возникают, конечно, разговоры в поликлиниках о том, что «понаехали», но я их через себя не пропускаю, чтобы не травмироваться. Есть другие, которых это задевает, они сильно переживают все это, им тяжело, обида есть. У многих кто-то умер, и поэтому мы «не забудем, не простим»...

Я не собиралась специально заниматься общественной деятельностью, так получилось. Я думаю, важно не только о себе заботиться, но хоть чем-то помочь другому. Жить становится легче, чисто психологически, когда тебе кажется, что ты кому-то сделал добро, хоть маленькое. Ты понимаешь, что если поднял мусор, это тоже хорошо, потому что если все люди будут понемножку что-то позитивное делать, то все изменится. Повезло, что в нашей сфере люди добрые, приятно с такими людьми работать.

Я не знаю, что будет завтра. Я в своей личной жизни, в семье, не думаю о том, что будет завтра, и в глобальном смысле тоже об этом не задумываюсь.

Аркадий, 35 лет

После всего этого я написал статью обо всем, что я видел, и отправил в несколько газет. Из «Московского комсомольца» мне позвонила Лиля, говорит: «Не хочешь ли ты у нас работать?» Я сказал: «Конечно, хочу». И вот с тех пор я занимаюсь военной журналистикой. Два года отработал в «МК», потом

Кириченко переманил меня в «Забытый полк» на НТВ, но НТВ уже было развалено, когда я туда пришел. Потом мы все ушли на ТВ-6, потом Владимир Владимирович развалил ТВ-6, мы ушли на ТВС. И Владимир Владимирович, следуя своей логике, развалил ТВС. Я года три был без работы, потом пришел в «Новую газету» и работал в «Новой газете» до последнего времени.

Друзей после войны у меня не осталось. Однажды я собрал своих старых друзей, и мы пошли бухать. Они мне задают какие-то идиотские вопросы. Ну, это стандартно, об этих вопросах в нашем ветеранском кругу все знают. Вот эти три стандартных идиотских вопроса: «Ты стрелял? Ты убивал? Сколько людей ты убил?» Вот и все, и после этого я перестал с ними общаться. Друзья у меня теперь – наше ветеранское сообщество.

Я совсем другой человек. Все, что у меня сейчас есть в жизни, есть только потому, что в моей жизни была война. Аркаша, который жил от 0 до 18 лет – он туда ушел и там погиб. А с 18 лет до 35 – это совсем какой-то другой мужик. Это два разных человека.

Али, 22 года

Война забрала все мое окружение. Потом дала другое окружение. Я оказался в совсем другой среде. Сознание людей настолько изменилось, что уже сострадания друг к другу, сочувствия, вообще нет. Более черствыми стали все.

Я никому не желаю войны. Война, это, конечно же, плохо, это потеря близких людей, много страданий. Говорят, что войны обязательно нужны в мире, потому что с каждым годом рождается все больше людей, и прокормить население планеты скоро будет невозможно, и все такое. Вот такую ерунду несут, говорят, что поэтому войны естественны. Но я не согласен, это не естественно. Это политика, которая кому-то нужна, от которой они получают большие деньги.

Я считаю, что не нужно из-за войны, из-за политики ненавидеть друг друга и пытаться нанести кому-то вред. Просто по-человечески постараться понять. Каждый вечер, когда ложусь спать, я думаю об этом, думаю, зря я прожил день или нет, чтобы не забыть все, что было в эту войну. И мне обязательно нужно выпить валерьянку. И потом засыпаю.

Аслан, 24 года

Я стал более жестким, что ли. Не с чем сравнить, чтобы понять, что изменилось. Сколько я себя помню, с 6 лет до сегодняшнего дня, я живу в таком месте, где кругом – опасность. Военные действия прекратились, хотя и сейчас бои в горах, подрываются люди там. Сейчас опасность зависит от того,

что ты говоришь. Касаемо свободы слова ты не можешь ничего говорить, а если скажешь, тебя прикроют, ты исчезнешь, в крайнем случае, могут найти твои останки, если повезет. Остался этот страх, сравнить его не с чем...

Почему? Зачем? За что? Все прекрасно понимают, что ни за что. Я знаю столько видов пыток, которыми пытали людей. Я спрашиваю себя: «Почему меня отпустили? Почему я? Почему меня?». Думал, что, наверное, из-за возраста, потому что я был самый младший, 14 лет мне было. Вопросов было очень мало. И сейчас думаю: «За что же их там?». Есть такие шекспировские вопросы: «почему», «за что» – но это же очевидно. Очевидно, что это была практика ведения войны, и не думаю, что так себя вели только российские военные.

Война – это такая штука, которая позволяет проявляться самой гнилой сущности человека, если сама эта война изначально гнусная. Я понимаю, война между Советским Союзом и Германией, это была война двух огромных держав, которые имели оружие, и те, и эти. А тут было истребление огромной страной маленькой нации, которая в принципе никак не может повлиять негативно на огромную страну, и с которой можно было в любом случае договориться. Кому-то это было нужно, кому-то это было выгодно – и с той, и с другой стороны, и это случилось. Ведь в России не было никаких маршей, протестов, митингов, где русский народ выходил бы и говорил: «Что же вы там делаете с бедными чеченцами!». Все думали: «Блин, правильно, всех их перебить – и дело с концом». Где же вы были? Где митинги? Где шествия? Где хоть какие-то действия во время этих войн? Со стороны российского народа, имеется в виду. Поэтому, когда говорят: «Народ не виноват, виноваты солдаты» – извините меня, народ тоже виноват.

Аналогия с третьим рейхом: ведь как Гитлер пришел к власти? Через честные выборы. Нацистская партия заняла первое место, и народ реально за нее проголосовал. Поэтому немцы говорят: «Мы виноваты, потому что мы этих выбрали, и за свои ошибки давайте будем тем же евреям, тем же полякам, тем же русским выплачивать компенсацию. Мы виноваты, и наши теперешние налоги идут на эти компенсации». Никто из них не говорит: «Идите, спрашивайте с бывших военных, гестапо или войск СС, с них спрашивайте, с этих ветеранов». Все прекрасно понимают, что нацистов выбрал народ, народ поддержал, поднял руки в приветствии – «зиг хайль», и все.

И поэтому они сейчас живут лучше нас, и нам же помогают.

Самое ужасное, на мой взгляд – это безразличие.

На мои занятия повлияло то, что я стал юристом и начал читать европейские хартии, конвенции, практику Европейского суда. Ну, есть много литературы, которая помогает понять, что есть законы, по которым люди реально

живут – и я выбрал направление «права человека». Конечно, это зависело больше от профессии, но еще и от того, что мои права были нарушены. То, чем я сейчас занимаюсь, придумываю какие-то проекты, участвую в волонтерских действиях – это все результат моего образования, потому что я учился, много читал. Я знаю, как людям бывает плохо, и я хочу оказывать влияние на то, чтоб люди у нас стали такими же свободными, как в Германии, Голландии, в Скандинавии, в других цивилизованных странах.

Я мог бы стать активным участником протеста, выйти на площадь и сказать: «Ты плохой, ты убивал, ты калечил, ты насилывал». Но я никогда не стану рисковать своими братьями, потому что я знаю, что при этом случается у нас, и меня это очень сдерживает. Три моих двоюродных брата погибли из-за одного брата, потому что его забрали, убили. Три брата побежали его спасать в РОВД, там устроили драку. Они думали, что он живой. И получается, что всех четверых убили в том же РОВД. Всех переодели в военную форму и выставили как бандитов, боевиков. Я не хочу такого же, поэтому я боюсь некоторых вещей, и участвую больше в проектах, связанных с инвалидами, помощью детям, в волонтерских организациях. Потому что я знаю, как только дело коснется политики, это для всех плохо закончится, по крайней мере, для меня. Я занимаюсь теми делами, которые хоть как-то возможны в Чечне.

Магомед, 27 лет

Если бы не началась вторая кампания, я бы остался в селе, был бы обычным сельским парнем. И у меня не появилось бы цели в жизни: получить образование, устроиться на работу. Как остальные соседи живут – сидят в селах, занимаются подсобным хозяйством. Вот и я бы таким же был, если бы не война.

Отсутствие справедливости, вот что больше всего людей мучает. Конечно, стабильность – это хорошо. Теперь у нас стабильно, чисто, город отстроили, открыли улицы, парки, школы – все работает, а справедливости нет.

Есть стереотип, когда люди думают, что ничего невозможно изменить, надо дать денег, и все. А те люди, которым я помогаю, видят, что это не так, и если они где-то опять с этим сталкиваются, то обращаются ко мне. У меня есть надежда, что людям можно доказать, что они могут добиться реализации своих прав, лишь бы иметь желание.

Руслан, 24 года

У меня пропал отец в первую войну. И я помню, в то время мне бабушка говорила: «Ты сейчас не чувствуешь, как тебе его не хватает. Ты со временем это почувствуешь, чем взрослее будешь становиться». И действительно, она

правду говорила. Сегодня, когда я представляю свою жизнь с ним, и сравниваю с тем, как я живу без него, мне действительно этого человека не хватает. Это очень сложно. Ребенок, я думаю, должен воспитываться обоими родителями, не отдельно матерью и не отдельно отцом. У меня, например, такой возможности не было. До шести лет у меня был отец, и потом я его не видел.

Потерянное детство – это потерянные возможности. Когда ты видишь людей, у которых много возможностей, ты понимаешь, что война у тебя их отняла. У нас не было детства нормального, что мы видели? Этот двор мы видели, никуда не ездили. Какого-то парка, где можно погулять, ничего этого не было. В любом случае, если мы даже тогда этого не ощущали, это на нас отразилось, это будет с нами всю жизнь – наследие что первой, что второй войны. Во мне это навсегда. Я никогда этого не забуду.

Хочу рассказать про один случай. Недавно я заходил в Дом печати, там заставляют сумку открывать и позволяют себе шарить, трогать мои вещи. Со мной был человек, он зашел, у него тоже сумка была, но его не проверили, а у меня проверили сумку. Я говорю: «Почему вы у него тоже не проверяете?» И охранник вслед мне кричит: «Ты чем-то недовольный?» – «Нет, я довольный, счастливый, не видишь что ли?» Он подошел ко мне – и мат, и все, что угодно. Вот это бесит, вот это. И вот эта безнаказанность, что они такие везде. То есть режим породил этих людей, которые просто ненормальные.

Стою я как-то перед зданием Комитета по делам молодежи. Ну, просто проспект Победы, и я стою на нем. Подходит один, говорит: «Открой свою сумку». Я ему: «Не открою». Ну, он-то думал, что я вообще не чеченец. А я начал на чеченском говорить, он удивился, мол, типа, «ты чеченец?» Сумку посмотрел, и все. Противно то, что все люди считают это нормальным, в то время как это не нормально.

Одна мечеть чего стоит, например. Я туда давно не хожу на пятничные молитвы, потому что мечеть меня отталкивает. Один раз иду, они говорят: «Ты откуда?» Я говорю: «Какая тебе разница, откуда?» Зачем я должен отвечать ему, откуда я, охраннику в мечети. «Почему ты не идешь в мечеть рядом с домом?» Я говорю: «Куда хочу, туда иду». И потом начал он ругаться насчет моей сумки. Мне это противно стало, я развернулся и ушел оттуда, то есть, я думаю, Аллах мне это простит. С тех пор я в эту мечеть не хожу. Эта мечеть, она не столько мечеть, сколько музей, потому что, когда приезжает Рамзан, туда никого не пускают, всех выгоняют. Это не совсем правильно в исламе. И культ личности, который этому человеку создают, – меня это бесит, не могу в этом жить. Называть это чеченскими традициями, это вообще ужас, потому что это не чеченские традиции и обычаи. В чеченских традициях каждый человек – равный, то есть не было того, чтобы кто-то был выше, кто-то ниже,

все одинаковые были, поэтому чеченцы такие свободолюбивые. А вот тут ни равенства, ничего. Он напрямую заявляет: «Есть я, моя семья Кадыровы, есть фамилия Кадыров – а все вы, остальные – ничто». Как это можно, как это «ничто», извини меня. Я тут живу, это моя родина, а ты, кто ты такой, чтобы это говорить? Понятно, кто тебя прислал.

Как у нас на телепередачах кричат, надевайте вот это, смотрите сюда, сядьте правильно. Эти концерты, которые сто лет никому не нужны, эти звезды. На концерт нормальному человеку попасть нельзя, там только свои люди, а они говорят – это для чеченского народа. Но, если хорошо присмотреться, среди зрителей постоянно одни и те же бывают. Это очень бесит, потому что чеченский народ от этого ничего не получает, и все это видят. Жить очень сложно, и сложность еще в том, что ты не можешь ни сказать нигде об этом, ни написать.

Мадина, 29 лет

Мирной жизни пока нет. Здесь есть военные, они повсюду – федералы, солдаты и чеченская милиция.

Война как-то незаметно, понимаете, перестала. Может быть, с 2009-го года, когда у нас уже восстановление в республике, перемены какие-то пошли.

Хотя Чеченская республика восстанавливается, а я помню, в городе на маршрутку села – и вдруг бум! Такой шум откуда-то. Что такое? А там, оказывается, взрыв произошел. Получается, что войны как бы нет, но опасно.

А сейчас ходили на открытие стадиона, где мест – на тридцать тысяч человек, и я почему-то не боялась. Может, потому, что время прошло, или, может, я решила: «все пошли, и я пойду». И на работе обязали быть там. Все потихоньку проходит, даже сама не замечаешь, как...

Когда начинаешь вспоминать, все опять нахлынет, а потом живешь обычной жизнью – работа, учеба, дом. Живешь нормальной жизнью, стараешься не вспоминать ничего. Я даже не знаю, что было бы со мной, если бы я находилась в республике, когда все это начиналось.

У меня есть двоюродный брат, все смеются над ним. Он, говорят, вороны испугался. Издалека ворона летит, а он подумал, что это вертолет, и прятаться побежал. Ворона вертолетом ему показалась. Такой был страх.

ПАМЯТЬ

Нужно ли помнить и говорить о войне?

Аминат, 67 лет

Не выговоренное прошлое отражается на будущем, и может отразиться негативно. Оно может человека толкнуть на неадекватные действия в новой ситуации. Например, когда-то чеченцы были депортированы в Казахстан. След от этой травмы сохраняется даже сегодня. Я считаю, что одной из сильнейших причин сопротивления и конфликта в Чечне была незалеченная травма этой депортации. Депортацию осуществлял Советский Союз, а новые политики не посчитали себя ответственными за происшедшее тогда. Не было покаяния, не было осознания этой властью, что она – наследница той власти, и ответственна за то, что происходит с этим народом сейчас. Не было исторического осознания того, что же было сотворено с народом, извинений не было. Была депортация, в результате которой 50% людей погибло. По существу это был геноцид. Эта часть истории не была переработана. Но она и была главной мотивацией в борьбе за независимость, столь острой и ожесточенной.

Теперь нам нужно переосмысливать не только историю и последствия депортации, у нас есть две новые войны. Если мы в будущем не найдем возможности изучения и оценки этой трагедии, она может пролонгироваться в перспективе. Необходимо, чтобы народы в будущем могли отстраниться от нее и жить новой жизнью. Понимать, что прошлое – это прошлое, а вот новая жизнь – это будущее.

Мне кажется, если бы была дана политическая оценка депортации, то эта травма была бы закрыта. Ведь главной целью борьбы за независимость было то, чтобы никакое государство, ни Российское, ни Советское не имело формальной возможности произвести депортацию еще раз. Изгнать народ со своей родной земли, уничтожить его физически. Вот почему я говорю, что прошлое прорастает в будущее. У исторических событий должно быть определенное место. Только тогда они могут быть безвредными для общества или даже наоборот, полезными.

Элла, 71 год

После Афганистана мы прекрасно понимали, что люди, которые перешли границу дозволенного, совершили убийство других людей – а тогда миллион мирных жителей убили, что эти люди пошли во власть, и они не могут без

войны. И многие военные мне говорили, что они не могут без войны, они на войне наживаются.

Я помню, как в Москве мы сидим с журналистами, которые вернулись с Ближнего Востока, а там тоже война – и видим сюжет из Грозного. Там мародерства нет, а здесь мародерство. Грабили совершенно нагло, и семьям сюда привозили награбленное барахло. Вот это страшно, это развратило полностью сознание людей. И вот это, я считаю, полностью убило армию. Поэтому не останавливать войну нельзя. Это значит, что мы получим следующую, еще более страшную войну. Надо обязательно анализировать этот опыт и давать возможность людям понять бессмысленность войны. Иначе будет еще страшнее. Общество погибнет из-за того, что оно убивает себе подобных. И когда в обществе создается образ врага – это начало следующей войны. Вы помните, как создавали образ врага из грузин? Сконцентрировали войска и оккупировали Южную Осетию. Надо более активно продвигать методы ненасилия. И демилитаризацией сознания надо заниматься. Собственно, мы этим и стараемся активно заниматься.

Аркадий, 35 лет

Про первую войну я мало что могу рассказать, потому что я ее помню очень смутно.

Более или менее как-то мыслить, осознавать я начал только во второй. Чеченцев за врагов не считали. Образ врага был такой: тридцатилетний сильный бородатый мужик в камуфляже с оружием. Вот это был образ врага. А сказать, что ненавидели чеченцев, нет, я этого не могу сказать. Понимаете, у нас в освещении этой войны всегда крайности. Наше прославленное телевидение показывает, как бесстрашные российские войска защищают республику от проклятых террористов, экстремистов, ублюдков, ваххабитов – это одна крайность. А если почитать, например, репортажи Анны Политковской, то ублюдки, палачи – российские солдаты с закатанными рукавами убивают мирных, хороших, бедных, несчастных чеченцев – это другая крайность. А все было посередине. Если брать вот эти две грани, истина лежит посередине.

Резали русских в Чечне? Ну, резали, ну, было. Что там говорить, не геноцидными масштабами, не так, как сейчас патриоты пытаются это представить, но было. Рынок рабов был в 97-м, в 98-м на площади Трех дураков? Ну что там говорить, был. Была война между пророссийской и продудаевской Чечней? Была.

Россия, конечно, нарушила все, что можно нарушить, Россия – это Гаага, это трибунал, однозначно. Но в любом конфликте, если он длится какое-то

достаточно протяженное время, через два–три месяца в любом конфликте стороны всегда сваливаются до одной и той же степени скотства. И та сторона, и эта. Сначала все начинается ради каких-то идей, когда там, у чеченцев был идеал – это независимость. Это чувствовалось, совершенно точно. Такого единения нации, такого подъема духа, как в 95-м, 96-м в Чечне я пока еще не видел в своей жизни. У России – это было сохранение территориальной целостности, Конституция. При этом обе стороны скатились до одной степени скотства, до одинаковой.

Я сейчас понимаю, кем я там был. Я понимаю всю преступность действий российской армии, сейчас, глядя из сегодняшнего времени. Понимаю, что так действовать не то, что нельзя, так действовать было преступно, безусловно. Но при всем этом, доля ответственности с чеченской стороны тоже присутствует.

У нас еще не было осмысления ни одной войны, чтобы понять, что это было. Наше прошлое – это наше будущее. Если мы хотим строить свое будущее нормально, мы должны осмысливать свое прошлое. Осмысление может быть только через разговор, только через дискуссии. Надо поднимать эту тему, надо обо всем этом говорить, надо обе стороны сводить, разговаривать, чтобы они в прямом эфире на первом канале говорили друг другу: «Да вы моих убили», а те им отвечали: «А вы моих убили». И во всем этом искать не истину, во всем этом искать причину, понимание того, что же с нами произошло, чтобы в дальнейшем, в будущем, этих вещей избегать. Что было, то было, это уже ничем не изменишь, но надо прикладывать все усилия, чтобы этого не было в будущем. У нас в обществе это отсутствует совершенно. У нас же чеченской войны вроде как и не было. Абсолютная информационная яма, что касается этой темы.

Марем, 49 лет

Если бы мне сказал с открытой душой какой-нибудь политик России: «Простите за эту войну», это было бы здорово. Но мы, наверное, этого не дождемся. Значит, нам нужно самим выговориться, без политиков. Надо общаться друг с другом. Делать программы большие, чтобы люди понимали, что все это было надумано. Из-за какой-то не существующей идеи, а скорее всего, из-за экономических целей, умирали дети. Возможно, все войны так и совершаются, во имя выдуманных целей. Но нам с вами этого не понять, наверное.

Сацита, 48 лет

По мере своих возможностей все, что я помню, я записываю. Потому что, мы, к сожалению, незаслуженно замалчиваем эти события. Молчать нельзя, потому что лет через десять на нас опять навесят ярлык, как вот, допустим, в 44-м году. Чеченцы были не виноваты в том, что в 94-м году начали бомбить этот город. Я хорошо знаю чеченцев, я сама чеченка. Я знаю, что здесь было, и я знаю всех людей, которые здесь жили.

Может быть, это и хорошо, что люди стали от этого отходить, не без конца же об этом говорить. А с другой стороны, конечно, немножко плохо, что стали мы забывать. Мы говорим меньше о тех событиях, наверное, потому, что тяжело об этом говорить. Как только мы начинаем говорить о тех событиях, у меня это происходит в одной плоскости – я ищу какие-то юмористические моменты. Надо чаще вспоминать о тех, кто погиб, потому что нет ни одной семьи, где люди не теряли бы близких. Поэтому многие о войне не хотят говорить. В обществе эта тема уходит и практически не изучается. Эти события никак не фиксируются, ни в источниках, ни в статьях, ни в книгах. Просто одной фразой – «последствия военных действий», и все. Ни одна сфера не изучена: ни экономика, ни культура. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, у нас историков не хватает, а может быть, нет интереса.

Лиля, 51 год

Я жалею, что в годы войны не записывала, ведь многое забывается. Ты порой даже заставляешь себя забыть, чтоб не так тяжело было. Но, конечно, надо помнить обо всем. Сейчас мне обидно, что с каждым годом все меньше и меньше говорят о войне, похоже, что нам неофициально запрещают говорить том, что с нами сделали.

Когда нас выселили в 1944 году, эта тема тоже была запретной, многие годы мы не могли говорить об этом. Я помню, дед много рассказывал, а я искала в учебниках и ничего не могла найти о выселении и годах ссылки, какие-то две строчки, что в такие-то годы население республики было выселено, и все. Вот так забыть десятилетия истории – мне кажется, что мы к этому сейчас идем, если ситуация не изменится.

Нужно сохранить свидетельства геноцида, который здесь был. Каждому человеку надо возвращаться к этому, чтобы извлечь уроки, чтобы к этому нас не привели снова. Я говорила молодежи, студентам, которых учила: «Вам говорят – ура, свобода, независимость, а вы подумайте, кто вам это говорит, и куда вас зовут, реально ли это, к чему это может привести. Мы, чеченцы, такие: кто ура закричит, за ним сразу побежали, без понимания. Надо думать,

кто кричит. Кто тебя зовет, куда тебя зовут». Абузар Айдамиров писал о том, что у нас в истории из века в век какие-то люди в своих целях поднимали массы, оставляя народ фактически на грани выживания. Не первый раз у нас в истории такое, но мы из этого уроков не извлекаем и снова наступаем на те же грабли.

Рамзан, 57 лет

Я не представляю себе, чтобы я сегодня или завтра жил, закрыв глаза на наше прошлое. Это было бы моральным преступлением – перечеркнуть прошлое, не думать о нем. Эта боль, связанная с прошлым, не для того, чтобы вызывать озлобление каких-то народов, а для того, чтобы не совершать ошибок. Прошлое всегда должно быть с нами. Я считаю, что когда человек живет, он должен одновременно жить и прошлым, и настоящим, и будущим, иначе я себе этого не представляю.

Аза, 23 года

Я думаю, что работа с прошлым мне крайне необходима, если я хочу дальше заниматься общественной деятельностью. Но что-то во мне сидит, что мешает мне, съедает меня. Я говорила, что эта тема не прорабатывалась мной, я не говорила об этом и на семинарах. Когда эта тема поднимается, меня начинает трясти, сразу всплывают картины, события, даты, люди. Невозможно спокойно говорить об этом, тем более, перед таким количеством людей. И я уходила, убегала, я не могла. Сейчас я могу переосмыслить свое прошлое и поставить точку, потому что это прошлое. Его нужно помнить, важно помнить, но оно не должно делать тебе больно. Ты помнишь, что это было. Но чтобы думать об этом, будто это произошло вчера, испытывать каждый раз такую боль – это ненормально. Поэтому нужно над этим работать.

Али, 22 года

Если не разберутся люди в том, что произошло в прошлом, не поймут, они не отпустят друг друга. Если я сам не постараюсь это понять... У меня было много психологов, которые мне об этом говорили, но я как-то не осознавал. Сейчас я это четко осознаю. Если я разберусь с прошлым, может, меня прошлое отпустит. И мне по жизни в дальнейшем будет намного легче. Хотя, этого, конечно, не забыть, я не должен забывать, я обязан это помнить. Работа с прошлым нужна, чтобы изменить мировоззрение, чтобы изменить свои взгляды на межнациональные отношения, конфликты, чтобы стать более толерантным.

Веда, 28 лет

Работа с прошлым нужна потому, что это была настоящая война. И теперь многие русские думают, что если чеченец, значит, бандит. Многие просто не знают чеченцев. Очень важно иметь какой-то личный контакт, личное общение, а люди делают выводы только из телевизора.

Есть много людей, психологически пострадавших, обиженных, недопонятых. Важно простить и что-то понять, по крайней мере для себя. Я не знаю, как живут люди, которые в себе все это держат, это очень ограничивает человека. Даже среди чеченцев есть такие, которые не готовы простить обиды, такая в них ненависть. Не знаю, я бы не смогла так жить – слишком сложно. Ненавидеть всех, кроме «нас», – это невозможно. Вообще, мне кажется, не интересно, скучно жить только в своем кругу. Поэтому надо более открыто относиться к другим людям. Для этого надо обязательно с ними знакомиться, рассказывать, показывать, писать, общаться.

Магомед, 27 лет

Я общаюсь с другими людьми, когда выезжаю за пределы республики, и вижу, насколько сильны стереотипы. Они ничего о нас не знают. Потом я понимаю: они не были участниками войны, они не пережили ничего. Они знают об этом лишь то, что передается в СМИ, и все. Люди, которые со мною общались, и которые до этого с чеченцами не были знакомы, у них появляется желание посетить Чеченскую республику, обо всем узнать. «Неужели это было так? А мы думали, вот так».

В 2009 году я был на фестивале в Липецке. Вечером сидим на улице и общаемся, один парень спросил, кто мой любимый писатель. Я ответил на этот вопрос. Он говорит остальным русским ребятам: «Я в шоке». Говорю: «Почему это ты в шоке?» – «Ну, я представлял чеченцев такими бородатыми людьми, которые все время лазают по горам, стреляют, и все».

Аслан, 24 года

Если и дальше мы должны будем жить в одной стране, конечно, нужно попытаться жить вместе. Я никогда не поддерживаю того, чтобы людей заставляли забывать, что было, это очень страшно. К примеру, у тебя расстреляли всю семью, а тебе говорят: «Это было давно, забудь, у тебя сейчас есть работа, тебе платят зарплату, у тебя есть школа. Это лучше, чем ничего, а про это забудь, это уже прошло». Или: «Забудь депортацию, забудь, что 60 процентов населения умерло, пока в товарных вагонах по морозу ехало. Забудь, это все

было давно. Сейчас же нас полно, нас миллион с чем-то. Ну и что, что нас в то время истребили, забудь и кавказские войны, ведь это было 200 лет назад».

Забывать ничего нельзя, нужно признать, что было с одной и с другой стороны, чтобы люди понимали – «эти ужасы были». Мне говорят: «Убери с Контакта эти фотографии, на которых убитые дети, искалеченные детские тела, разорванные люди». Я говорю: «Зачем? Пусть люди видят, к чему приводит бездействие, равнодушие других людей». Самому тяжело, но это должно быть...

Пока прошлое кровоточит, его надо напоминать людям. А если это все забудется, то совершенно легко сможет повториться через 10, через 20 лет, может, даже раньше. Поэтому ошибки должны быть признаны, ошибки должны быть на виду, чтобы в случае, если что-то начнется, люди могли сказать: «Мы же не забыли о том, что было 200 лет назад. Помните: опять может быть то же самое». Все эти ужасы войны, все преступления должны быть задокументированы. Люди должны понимать: то, что с ними было, не исчезло. Поэтому надо все помнить, надо чтобы люди искренне простили друг друга, не просто забыли. Что просто забывается, рано или поздно вспоминается. Народ, который мало что забывает, мало что прощает. Народы Кавказа, особенно живущие в Чечне, ценят хорошее к себе отношение и всегда отплачивают тем же. Если они увидят, что люди искренне говорят: «Да, мы совершили ошибку, да, мы виноваты», – тогда, я уверен, народ скажет: «Ладно, это было, но будем в ладу жить, дружить все-таки лучше». А когда говорят: «Мы боролись с бандитами, мы боролись с ваххабитами», и никто не упоминает, что погибли тысячи мирных людей, это уже глобальное лицемерие. Так что это сложная работа, которую придется делать аккуратно и долго. Просто забинтовать рану, заклеить сверху пластырем не выйдет – в глубине эта рана останется такой же, как и была.

Руслан, 24 года

История меняется, ее представляют так, как это кому-то выгодно. Мне кажется, важно, чтобы человек сам все рассказывал – и тогда будет на что опираться историкам. Чтобы всем было понятно, что мы не такие счастливые, что не совсем виноваты в этой войне, что мы больше пострадали. Чтобы в истории война была бы отмечена не в том плане, что, мол, Россия спасала нас от террористов, а именно так, что Россия пришла и все разбомбила. Чтобы показать людям, что это была за война на самом деле, что люди чувствовали. Вот это мне кажется было бы важным.

ЗАЧЕМ

Зачем нужна работа с прошлым? (послесловие интервьюеров)

**Анна, 24 года,
студентка факультета социальной антропологии**

Многие люди думают, что это какие-то посторонние вещи, нам не нужно об этом знать – это к вопросу памяти. Нужно ли нам об этом вспоминать, зачем? Может, лучше забыть? Может быть, вообще, жить настоящим, не думать о прошлом, строить будущее? Но в том-то и дело, что это вопрос, скорее, не памяти, а принятия прошлого. Если ты принял какое-то событие, ты можешь спокойно строить будущее. Но если ты не можешь принять этого, здесь только два варианта: первый вариант – убежать, не думать об этом. И это вариант полного разделения, изоляции от жителей Чечни. Изоляция или геноцид, потому что иначе никак, потому что это не просто их убеждения, а факты их жизни. А другой путь – это попытаться навести мосты.

Для меня главная цель в этом, и, соответственно, главный вопрос: как это событие формирует новые взаимоотношения между одной стороной и другой, между людьми? Могут ли и хотят ли обе стороны повернуться к этому событию, посмотреть на него объективно и разобраться, что там было?

**Ирина, 26 лет,
специалист по работе с молодежью**

Много лет я ничего не знала о войне в Чечне. Люди вокруг зарабатывали деньги, платили налоги, тем самым оплачивая войну в Чечне, и делали вид, что война их не касается. Для них, да и для меня Чечня была такой далекой, а война такой чужой. И только когда я увидела и услышала людей, не понаслышке знающих об этой войне, я осознала, что вот она – война. А война – это страшное, да такое страшное, что не передать ничем. Нельзя, нельзя оставаться безучастным, когда в стране, в которой живешь, идет война. И первое, что нужно сделать, это признать свою ответственность за происходящую войну, а там уже действовать, как подсказывают внутренние убеждения и совесть.

Некоторое время я думала, что ранее окружавшие меня люди так безразличны к чеченской войне просто потому, что жили во тьме, в неведении, как и я сама. И тут я принялась рассказывать своим знакомым то, что слышала о

войне от людей из Чечни и Ингушетии. В лучшем случае я слышала сочувственное молчание, в другом случае короткую фразу о том, что на Кавказе постоянно война, и больше собеседник ничего не желал слушать.

Думаю, человек, который не видел войны, никогда не поймет человека, пережившего войну. Тот, первый, может говорить, рассуждать о войне, а потом легко переключиться на другую тему, и даже пошутить и улыбнуться. Но тот, кто знает, что это такое – война, говорит об этом с болью, и после разговора у него еще долго будет задумчивый вид, а в глазах – застывший ужас.

Первая война закончилась, когда люди, отстаивавшие независимость своей республики, выиграли. Был подписан мирный договор. Но когда закончилась вторая война? Как назвать жизнь мирной, если мирной жизни нет.

Март месяц, еду по бакинской трассе в Грозный. Вдоль дороги за деревьями видны люди в камуфляжной форме, все с оружием. На деревьях еще нет листьев, и за голыми ветками их нетрудно рассмотреть. Через каждые сто, сто пятьдесят метров по двое–трое, кто сидит, кто стоит, один даже разводит маленький костер. Кого они ждут?.. Война для Чечни это не прошлое, это настоящее.

Ариша, 23 года, выпускница факультета культурной антропологии

Возвращаюсь к своему прозрению – моменту, когда для меня началась война. И теперь я понимаю, что не могу с этим жить. Я не могу жить с тем, что какие-то люди в моей стране страдают до сих пор.

Я хочу, чтобы люди, которые меня окружают, жители Москвы или Сибири – от кого это все вообще очень далеко, чтобы эти люди тоже немного войну пережили! И хочу, чтобы они поняли, что нельзя с этим жить. Когда они говорят какие-то ксенофобские вещи про кавказцев, они просто не осознают, что там происходит и по чьей вине. Не осознают, что, например, беженцы не просто так оттуда уехали, что у них реально была война. Они не понимают, что такое война в их конкретной ситуации. Мне бы хотелось просто донести до людей эту правду, но не все готовы ее воспринимать, не все...

Тимур, 22 года, студент юридического факультета

Считается, что у человека есть пять чувств, но я где-то читал, что память – это наше шестое чувство. Настолько она важна для человека. Вероятно, она даже важнее, чем зрение и слух. Без зрения и слуха человек может прожить.

Без памяти человек тоже, наверное, не умрет, но если попытаться представить себе человека, который не помнит ничего о себе, каждое утро просыпается и начинает жизнь с чистого листа, то это действительно страшно. Будет ли этот человек личностью? Человек, который не помнит своего прошлого, лишен возможности работы над собой. У него просто нет материала для работы. Он лишен осознания смысла жизни.

Мне кажется, что многие воспринимают человека как двуногое существо без перьев. Ценность жизни при таком восприятии нивелируется. Двуногое без перьев легко убить, искалечить и пытать. Не думаю, что те, кто развязывает войны, воспринимают людей как-то иначе. На мой взгляд, человек – это двуногое с памятью, двуногое с прошлым, со своей личной историей, радостями и переживаниями. Если бы человека воспринимали именно таким образом, многих трагедий удалось бы избежать. Сложно причинять страдания, когда ты видишь в человеке не только тело, но и все его прошлое. Ведь в таком случае придется признать, что во многом ваше прошлое схоже, как и у большинства людей, да практически у всех.

А теперь попробуйте представить общество, которое не помнит своего прошлого, не может его пережить заново и проанализировать. Способно ли такое общество к здоровому развитию?

Конечно, это прекрасно, когда общество сыто, одето, радостно. Но здорово ли оно при этом, если еще не осмыслено пережитое?

Дарья, 26 лет, выпускница факультета публичного права

Незнание собственной истории, истории своей страны ширмой отгораживает от нас настоящие причины многих событий. По-моему, мы не пережили ни вторую мировую войну, ни тем более те вооруженные конфликты, которые случались позже. Несмотря на всю тяжесть того, что необходимо узнать и «переварить», тема войны встает краеугольным камнем как для настоящего, так и для будущего. Эта тема должна быть проработана настолько, чтобы не повторилось подобных катастроф. Учитывая настроения в обществе – агрессивный настрой и нетерпимость по отношению к различным народностям и этническим группам, можно сказать, что актуальность изучения и просвещения в области истории вооруженного конфликта в Чеченской Республике растет не по дням, а по часам. Нужно срочно делать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобной трагедии.

В современном мире существует направление репаративной юстиции, куда входят различные инструменты работы с прошлым в постконфликтных

ситуациях. Я подробно исследовала эту сферу права. История и опыт создания комиссий правды и примирения в странах, где, казалось, мир просто невозможен, доказали целесообразность и эффективность таких механизмов. Погрузившись в детали работы комиссий и в описания различных ситуаций, при которых они создавались, я «примеряла» такого рода инструменты и для нашей страны. Мне кажется, что маленькими шажками могло бы получиться нечто похожее и у нас.

**Карина, 34 года,
преподаватель русского языка как иностранного**

На протяжении нашей общей истории одно за другим происходили события, которые оставляли после себя обиды, недопонимание, горечь. В конце 80-х годов в стране стало происходить то, что могло привести к осмыслению прошлого, и, казалось, что скоро мы освободимся от гнетущего нас прошлого, и жизнь станет другой. Но эта работа прекратилась, и возник следующий конфликт, которому суждено было стать еще более страшным и трагическим. Мне кажется, что нужно начать с осмысления того, что происходило в последнее время, и постепенно идти дальше, в глубину истории – осторожно, стараясь не порвать тонкую нить, разматывать этот тугой и тяжелый клубок.

Мне кажется, бывает так, что человеку просто надо рассказать что у него на душе. То есть не нужно для этого делать что-то необычное – всего лишь поделиться тем, что у тебя накопилось, и выслушать другого.

Это значимо для всего общества. Может быть, и даже скорее всего, оно еще этого не понимает, не осознает. Оно к этому не готово, но когда-то надо начинать. И поэтому всем тем, кто уже сейчас готов к такому разговору, мой низкий поклон и огромная благодарность.

Спасибо!

От всего сердца мы выражаем благодарность людям, без которых эта книга была бы невозможна:

Веде, Аслану, Магомеду, Али, Азе, Минат, Руслану, Мадине, Марем, Лиле, Рамзану, Саците, Аминат, Элле, Аркадию, Вячеславу, Наталье – нашим рассказчикам, которые нашли в себе мужество и душевные силы, поделиться своими историями, спасибо за вашу искренность и честность;

Арише Золкиной, Ирине Можайкиной, Карине Котовой, Тимуру Воскресенскому, Маше Ромашкиной, Дарье Соколовой, Александре Малеевой – волонтерам проекта, которые брали интервью и расшифровывали, спасибо за ваш интерес и участие, за способность принимать близко к сердцу и делать от души;

Динаре Бадаевой, Якубу Кагерманову, Александру Черкасову, Варваре Пахоменко, Светлане Ганнушкиной, Алене Козловой, Зое Химчан – экспертам, которые готовили волонтеров к работе в проекте и ведению интервью – за отзывчивость, равнодушие, вовлеченность, за умение слышать вопросы и давать нужные советы;

Светлане Ганнушкиной, Варваре Пахоменко, Екатерине Сокирянской – консультантам, чьи критика, комментарии и разговоры помогли понять, как нам реализовать нашу идею,

отдельное спасибо Дмитрию Шапову за помощь в подборе фотографий, ну и, конечно, спасибо всем нашим друзьям, коллегам, родственникам, которые читали, комментировали, советовали, и просто были рядом в сложные минуты сомнения и усталости – ваша постоянная поддержка дала нам силы и вдохновение довести дело до конца.

С огромной благодарностью,

Сабина и Татевик

кураторы проекта и редакторы-составители

Участники проекта надеются, что эта книга поможет
всем нам лучше понимать друг друга.

Мы хотим жить в мире без войн.

Именной указатель

Аза	18, 26, 34, 54, 123, 131, 143
Али	17, 26, 85, 124, 134, 143
Аминат	20, 36, 117, 126, 131, 139
Аркадий	16, 27, 31, 63, 122, 133, 140
Аслан	25, 37, 59, 126, 134, 144
Веда	16, 112, 125, 132, 144
Вячеслав	19, 24, 29, 90
Лиля	15, 24, 35, 50, 125, 132, 142
Магомед	35, 57, 126, 136, 144
Мадина	115, 124, 138
Марем	19, 23, 28, 99, 123, 128, 141
Минат	18, 25, 45, 125
Наталья	19, 28, 104, 132
Рамзан	22, 33, 49, 131, 143
Руслан	18, 26, 115, 125, 136, 145
Сацита	16, 23, 37, 41, 123, 128, 142
Элла	30, 75, 130, 139

ХРОНОЛОГИЯ

Россия и Чечня:

краткая хронология отношений*

Впервые русские, казаки Ивана Грозного, и чеченцы – местные жители встретились во второй половине XVI века в долине реки Сунжи, подле селения Чечен-аул – отсюда и пошло русское название этого горского народа – чеченцы.

В период Смутного времени российское государство уходит с Кавказа, где устанавливается противостояние казаков – вольных людей, бежавших из России от крепостного гнета и расселившихся севернее Терека – и чеченцев, расселившихся на предгорных равнинах. Казаки становятся «государевыми людьми», осваивающими новые территории.

1739

Возведение Кизлярской укрепленной линии, начало борьбы России с горцами за контроль над предгорными равнинами.

1785–1791

Восстание горцев под предводительством чеченца шейха Мансура (Ушурмы), объединившего в борьбе с Россией горские племена.

1817

Начало большого наступления российских войск на горную Чечню. Начало Кавказской войны (1817–1864).

1818

Основание крепости Грозной.

1834–1859

Борьба России с имамом Шамилем, объединившим многие горские племена против интервенции России.

26 августа 1859

Взятие последней резиденции Шамиля, аула Гуниб русскими войсками, сдача Шамиля в плен. Окончание широкомасштабной борьбы горцев за независимость.

21 мая 1864

Подавление последнего крупного очага сопротивления горцев на Западном Кавказе, официальная дата окончания Кавказской войны. Однако и после этого вспыхивали горские восстания (например, в 1877–1878 годах).

* Перепечатано с материалов книги «Быть Чеченцем. Мир и война глазами школьников». Мемориал / Новое издательство 2004 г.

1869

Крепость Грозная переименована в город Грозный.

1877–1878

Народное восстание в Дагестане и Чечне против русского господства в поддержку единоверцев во время Русско-турецкой войны.

1914–1918

Участие Чеченского и Ингушского полков в составе так называемой Дикой дивизии российской армии в первой мировой войне.

27 февраля 1917

Февральская революция в России, свержение самодержавия.

Март 1917

I горский съезд во Владикавказе, образование «Союза объединенных горцев Кавказа».

25 октября 1917

Октябрьская революция в России, захват власти партией большевиков. Отказ чеченцев и ингушей Дикой дивизии принимать участие во внутривосстательской борьбе, фактически способствовавший закреплению большевиков в Петрограде.

11 мая 1918

Провозглашение независимости Горской республики.

1919–1920

Активные боевые действия в Чечне и Ингушетии против войск генерала Деникина. Часть вайнахов сражалась против извечных врагов – казаков белой армии – на стороне большевиков. Часть воевала за веру под водительством эмира Узун-Хаджи против всех немусульман.

1920

Создание ингушского алфавита на основе латинской графики.

Март 1920

Вступление в Грозный отрядов Красной армии, провозглашение советской власти в Чечне и Ингушетии.

17 ноября 1920

Образование в составе Советской России Горской АССР, в которую вошли Чечня и Ингушетия.

1922

Образована Чеченская АО.

1922–1924, 1925, 1929–1930, 1932, 1933–1934, 1937–1939

«Антисоветские» восстания в Чечне и Ингушетии и карательные экспедиции Красной армии против вайнахских повстанцев.

1924

Образована Ингушская АО.

1929

Начало массовой коллективизации и «раскулачивания» в Чечено-Ингушетии. Кампания против религиозных авторитетов.

1934

Образована Чечено-Ингушская АО.

1934

Утвержден единый чечено-ингушский алфавит на латинской графической основе.

1936

Чечено-Ингушская АО преобразована в Чечено-Ингушскую АССР.

1937–1938

«Большой террор» в Чечено-Ингушетии. По политическим обвинениям арестовано более 12 тысяч человек.

1938

Чечено-ингушская письменность переведена на кириллицу.

22 июня 1941

Началась Великая Отечественная война.

23–27 февраля 1944

Депортация в Среднюю Азию чеченцев и ингушей. В этом же году началась партизанская борьба избежавших выселения вайнахов против представителей советской власти.

7 марта 1944

Указ Верховного Совета СССР о ликвидации Чечено-Ингушской АССР. Дома выселенных были переданы переселенцам. Ссылка чеченцев и ингушей продолжалась 13 лет.

9 января 1957

Указ Президиума Верховного совета СССР о восстановлении Чечено-Ингушской АССР, начало массового возвращения чеченцев и ингушей на родину.

26–28 августа 1958

Стихийные античеченские погромы в Грозном. Толпа взяла штурмом административные здания в центре города, массовые волнения подавлены введенными из других регионов войсками. Вернувшиеся чеченцы и ингуши столкнулись с отсутствием рабочих мест в промышленности – на десятилетия скрытая безработица и малоземелье (несмотря на присоединение в 1957 году районов севернее Терека) стали едва ли не главными проблемами.

Ноябрь 1990

Первый Чеченский национальный съезд, избрание Исполкома Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН) во главе с советским генералом Джохаром Дудаевым.

Август 1991

Поддержка партийно-советским руководством ЧИАССР путча ГКЧП, как результат – дискредитация законных органов власти и захват в сентябре власти в Чечне национал-радикалами из ОКЧН.

15 сентября 1991

Фактическое разделение Чечни и Ингушетии.

27 октября 1991

Избрание президентом Чечни Джохара Дудаева.

7 июля 1992

Вывод российских войск из Чечни.

31 октября – 4 ноября 1992

Кровавые столкновения в Пригородном районе Ингушетии, «осетино-ингушский конфликт», изгнание ингушей из Северной Осетии.

26 ноября 1994

Инспирированный Москвой неудачный штурм Грозного чеченской «оппозицией», а фактически – завербованными спецслужбами российскими военнослужащими, захват их в плен.

29 ноября 1994

Ультиматум Б.Ельцина чеченскому руководству с требованием капитуляции.

11 декабря 1994

Ввод российских войск в Чеченскую Республику, начало первой чеченской войны.

31 декабря 1994

Начало штурма федеральными войсками чеченской столицы, г. Грозного, продлившегося до марта 1995-го. К апрелю установлен контроль над равнинной частью Чечни.

7–8 апреля 1995

«Зачистка» федеральными силами села Самашки, убийство более ста мирных жителей в ходе карательной операции.

Май 1995

Начало широкомасштабного наступления федеральных сил на горные районы Чечни.

14–20 июня 1995

Террористический акт в Буденновске. Отряд Шамиля Басаева захватывает около 1500 заложников в городской больнице. Освобождение заложников в результате переговоров, начало в Грозном мирных переговоров между чеченской и российской сторонами под эгидой ОБСЕ, признание де факто руководства сепаратистов, полугодовая мирная передышка.

14 декабря 1995

Попытка федеральной стороны провести выборы «главы Чеченской Республики», возобновление сепаратистами боевых действий.

9–18 января 1996

Террористический акт в Кизляре, захват более 1500 заложников в больнице отрядами Салмана Радуева, бои в селе Первомайском.

22 апреля 1996

Убит президент Чечни Джохар Дудаев.

23 апреля 1996

Президентом Чечни становится вице-президент Зелимхан Яндарбиев.

6–21 августа 1996

Чеченские отряды берут под контроль Грозный, бои в городе, переговоры между Александром Лебедем и Асланом Масхадовым.

31 августа 1996

А. Лебедь и А. Масхадов в Хасавюрте подписывают совместное заявление об основах отношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой. Конец «первой чеченской войны».

31 декабря 1996

Российские войска покидают Чечню.

27 января 1997

Избрание президентом Чеченской республики Аслана Масхадова, официально признанное руководством РФ.

12 мая 1997

А. Масхадов и Б. Ельцин в Кремле подписывают договоры о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Власть Масхадова в разоренной войной республике непрочна. В 1997–1999 годах республику покинуло практически все невайнахское население. Отток его начался в конце 1980-х годов и усилился после прихода к власти сепаратистов, поскольку «русскоязычные» жители Чечни стали объектом криминального давления.

Июль 1998

В Гудермесе столкновения между религиозными экстремистами и силами, лояльными Масхадову, который проявляет нерешительность и фактически теряет контроль над дальнейшим развитием ситуации в республике.

Август–сентябрь 1999

Вторжение отрядов экстремистов из Чечни в Дагестан, начало боевых действий. Вторгшиеся отряды Басаева и Хаттаба уходят обратно в Чечню.

Октябрь 1999

Ввод федеральных сил на территорию Чеченской Республики, начало «второй чеченской войны».

Декабрь 1999 – январь 2000

Федеральные войска пытаются штурмовать блокированный Грозный, продолжают бомбардировки и обстрелы города.

Начало февраля 2000

Отход покинувших Грозный чеченских отрядов Грозного в горы, бомбардировки и бои в селах Западной Чечни.

Март 2000

Окончание широкомасштабных боевых действий в Чечне.

Июнь 2000

«Главой администрации Республики» (без существенных полномочий) назначен бывший муфтий Чечни Ахмад Кадыров, перешедший осенью 1999 года на федеральную сторону.

Лето 2000

Начало нового этапа войны: с чеченской стороны – диверсионно-террористическая тактика, с федеральной – «зачистки» в селах, задержания и «исчезновения» людей.

2003

Федеральная власть проводит тактику «чеченизации» конфликта, используя силовые структуры, сформированные из чеченцев, и передавая полномочия лояльной чеченской администрации.

5 октября 2004

Ахмад Кадыров избран президентом Чеченской Республики в составе РФ. Правозащитные организации отмечали, что вся выборная кампания изобилвала серьезными нарушениями. Многие международные наблюдатели отказались от присутствия на выборах.

9 мая 2004

Гибель Ахмада Кадырова в результате теракта.

10 мая 2004

Рамзан Кадыров, сын Ахмада Кадырова, назначен первым вице-премьером ЧР.

29 августа 2004

Президентом Чечни избран Алу Алханов.

март 2007

Рамзан Кадыров становится президентом Чечни.

15 апреля 2009

Официальное снятие режима контртеррористической операции на территории Чечни.

Информация по теме

Организации:

Международная Кризисная Группа (International Crisis Group) www.crisisgroup.org.

«Мемориал» <http://www.memo.ru/hr/hotpoints/index.htm>.

«Human Rights Watch» www.hrw.org.

«Комитет против пыток» <http://www.pytkam.net/web>.

«Правовая инициатива по России».

Сайты:

«Кавказский узел» <http://www.kavkaz-uzel.ru>.

Радио «Эхо Кавказа» <http://www.ekhokavkaza.com>.

Альманах «Искусство войны» (война от первого лица – творчество ветеранов войн) <http://navoine.ru>.

Фильмы (художественные и документальные):

«Кавказский пленник», реж. Сергей Бодров (старший).

«Три товарища», реж. Мария Новикова.

«Чеченская колыбельная», реж. Нино Киртадзе.

Фоторепортажи:

Хайди Бренер: <http://heidibradner.com>.

Томас Дворжак: <http://www.magnumphotos.com>.

Статьи:

Игорь Каляпин: «Кавказские борзые».

Светлана Ганнушкина: «Право быть человеком».

Статьи и репортажи журналистов «Новой газеты»: Анны Политковской, Аркадия Бабченко, Вячеслава Измайлова.

<http://www.novayagazeta.ru>.

Книги:

Дневник Полины Жеребцовой; Полина Жеребцова, Детектив-Пресс, 2011.

Россия и Чечня: история противоборства. Корни сепаратистского конфликта; Джон Данлоп (Английская версия: Russia Confronts Chechnya: Roots of Separatist Conflict), Правозащитный центр «Мемориал», Валент, 2001.

Чечня. Год третий; Джонатан Литтелл, «Ад Маргинем Пресс», 2012.

Время Юга: Россия в Чечне, Чечня в России; Алексей Малашенко Дмитрий Тренин, Московский центр Карнеги, Гендальф, 2002.

Рабочие дни; Галина Ковальская, «Мемориал», 2003.

КАЖДЫЙ МОЛЧИТ О СВОЕМ истории одной войны

Комитет «Гражданское содействие»
127006, Москва, ул. Долгоруковская д.33 стр.6
тел. +7 499 251 53 19
факс +7 499 973 54 74
e-mail: ccaserver@mtu-net.ru
www.refugee.ru

Подписано в печать 15.04.2013.
Формат 70x90 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Гарнитура «PragmaticaC». Объем 11,0 у.п.л. Тираж 700 экз. Заказ № К-10706.

Отпечатано в ГУП ЧР "ИПК "Чувашия"
Мининформполитики Чувашии,
428019, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 13.

Мы привыкли жить в своем защищенном замкнутом мирке. Мы видим и слышим навязанную нам реальность, якобы единственную и неоспоримую...

И среди этой глухой темноты раздается голос. Он дрожит, взрывается, затихает, уверенно отчеканивает слова, смиренно колеблется. Я слышу этот голос, рассказывающий историю, и словно возвращаюсь к жизни. Передо мной возникает живая картинка. Внезапно я ловлю взгляд говорящего. Его невозможно забыть. Трагедия и боль отражаются в нем. Он застывает от воспоминаний, томится и, в конце концов, впивается в меня, ожидая ответа. Эти глаза устали от молчания. Слишком долго их слезы не слышны...

И так, слыша и видя, я ощущаю себя другой. Холод пронизывает меня, и мурашки пробегают по телу. Я чувствую себя частью живой истории и понимаю, насколько она важна. Мы должны пережить это вместе, рука об руку, сохранить в памяти и передать другим!

Дарья Соколова,
участница проекта «Личные воспоминания о Чеченской войне»

Я очень надеюсь, что этот сборник искренних рассказов о времени и о себе немного поможет людям понять друг друга и помешает процессам разобщения, которые мы наблюдаем сегодня в мире.

Светлана Ганнушкина,
председатель Комитета «Гражданское содействие»